

Через сто лет

Автор:

Эдуард Веркин

Через сто лет

Эдуард Веркин

Эдуард Веркин – писатель, неоднократный лауреат литературной премии «Заветная мечта», лауреат конкурса «Книгуру», победитель конкурса им. С. Михалкова и один из самых ярких современных авторов для подростков. Его книги необычны, хотя рассказывают, казалось бы, о повседневной жизни. Они потрясают, переворачивают привычную картину мира и самой историей, которая всегда мастерски передана, и тем, что осталось за кадром.

События книги происходят в далеком будущем, где большая часть человечества в результате эпидемии перестала быть людьми. Изменившийся метаболизм дал им возможность жить бесконечно долго, но одновременно отнял способность что-либо чувствовать. Герои, подростки, стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются подражать поведению влюбленных из старых книг. С гротескной серьезностью они тренируются в ухаживании, совершая до смешного нелепые поступки. Стать настоящим человеком оказывается для них важнее всего.

«Через сто лет» – фантастическая повесть, где под тонким слоем выдумки скрывается очень лиричная и одновременно пронзительная история любви. Но прежде всего это высококлассная проза.

Повесть издается впервые.

Эдуард Веркин

Через сто лет

Журналист был настойчив.

Я сразу понял, что это журналист, от них пахнет. Действительно пахнет, это не фигура речи. Краска, бумага, опять бумага, кофе. Специфическое амбре журналистов, смесь назойливости, некомпетентности, мании величия и принципиально не стиранных рубашек. Журналисты одинаково пахнут везде. На Земле, на Марсе, на станции «Черный принц», плывущей в огне между звездой и орбитой Меркурия. Мне кажется, журналисты и раньше так пахли, некоторые вещи ведь не меняются. Как, например, газеты. Как книги. Кто сейчас вспомнит омерзительно вечные электронные книги, пластиковые, удобные, с предусмотрительно загруженной в память всеобщей библиотекой? Пластиковые газеты, обновляющиеся каждую минуту, рекламные облака, всплывающие в окна...

Я помню, мне много лет. И я знаю: все возвращается на круги своя. Бумага, карандаши, фарфоровые тарелки, деревянная мебель, пленочная фотография, камин, пешие прогулки, радио. Ламповые приемники, теплые и трескучие, теперь стоят в каждой гостиной, светятся загадочным фантастическим светом, и нет больше...

Впрочем, я отвлекся.

Первый раз я увидел его в мае, он бродил вокруг дома, разглядывал. Днем в обычный бинокль, вечером – в инфракрасный. Назойливый такой молодой человек. Не мог по-простому, по-человечески, прислать бы письмо, попросил бы о встрече...

Но этот начал выслеживать.

Последний... то есть предпоследний журналист приезжал ко мне семнадцать лет назад. Весело тогда получилось. А последнее удачное интервью... наверное, тогда, в Австралии. Этот, думаю, меня тоже порадует, в последнее время что-то скучновато.

Солнце тонуло в океане, я поднимался на веранду, устраивался поудобнее перед телескопом, включал приемник. Смотрел в небо через поляризационные очки, и

звезды не мигали. Потом смотрел в телескоп. На облезлую Луну, на Марс, на станцию «Черный принц», которую отсюда, конечно, не видно.

Но она там.

Слушал эфир.

У меня хороший приемник, мощный. Раньше такие ставили на «Пионеры», теперь их используют радиолюбители. И я. Небо заполнено звуками. Трещит корона Солнца, суетливо балаболит Луна, красное смещение заполняет Вселенную равнодушным шепотом, и так всегда. Я слушал небо, а журналист наблюдал за мной – периодически я ощущал на лице любопытную волну от его древнего тепловизора. Это продолжалось целую неделю, я терпел, иногда даже дружески помахивал ему рукой. Но журналист был очень дикий и каждый раз шарахался через заросли шиповника, даже смешно, я смеялся.

На вторую неделю он осмелился перебраться через заборчик. Я услышал это. Забор скрипнул и чуть не сломался, мне стало обидно: первый журналист, нашедший меня через много-много лет, – и неуклюж, как медведь. А он затаился и почти не дышал, минут десять, а потом пополз к дому, стараясь не шуметь, но шумел, как слон. Как сотня слонов. Он добрался до бассейна, но дальше продвинуться не решился, так и лежал до утра, разрушая музыку ночи своим сиплым дыханием.

В третью неделю, когда он обнаглел до того, что стал заглядывать мне в окна, я решил пошутить. Это было легко, он стоял возле окна, возил по стеклу носом с неприятным скрипом, от которого мне становилось не по себе. Я выбрался на крышу, прыгнул в сад, подошел к репортеру и потрогал его пальцем за шею.

Он наделал в штаны. Немного, но наделал, так, прыснул, я понял, почему у всех журналистов свой аромат. Еще он закричал, и побежал, и сломал мне розовый куст, между прочим, редкий сорт, я за ним в Австралию летал.

Эта наша встреча оказала на журналиста благотворное действие – он не показывался целую неделю и еще две недели держался от дома подальше, сидел в «Оладушке», а вечером в «Перекусе», пил кофе и смотрел на меня в подозрную трубу. Меня это не раздражало, у него работа такая. И сущность, еето уж точно не поменять. Может, он хочет написать книгу. Другие пару раз уже

пробовали, и документальную, и роман. Не получилось. А этот думает, что получится, этот оптимист.

А вчера он подговорил Дэна.

Я сидел на крыльце, слушал кузнечиков и считал звезды, потом услышал Дэна. Он перелез на мою сторону по старой груше и теперь крался вдоль стены. Это у него забава такая – меня пугать. Каждый раз старается застигнуть врасплох. Вот и сейчас – даже дыхание задержал, он пловец, на две минуты почти может.

Но я его слышу. Сердце-то он задержать не может.

– А-а-а! – Дэн выпрыгнул у меня из-за спины со страшным лицом.

В кожаной шляпе, в старом вельветовом пальто, которое должно было изображать плащ из буйволиной кожи, с самодельным крестом в левой руке и с колом в правой. Кол не осиновый, ножка стула обструганная.

– А-а-а! – Дэн размахнулся колом.

Я испугался. Выпучил глаза, дернулся, закрылся руками, все как полагается, сделать ребенка счастливым так легко.

– Трепещи, носферату! – воскликнул Дэн. – Ибо зришь ты смерть свою!

Я закрыл руками голову. Немного пошевелил пальцами.

– Трепещи! – повторил Дэн и выставил перед собой крест.

Я зашипел.

– А-а-а!

Я задрожал мелкой и крупной дрожью.

– Испугался! – заверещал Дэн. – Испугался!

– Сколько можно? – обиделся я. – Я твоей матери все-таки пожалею. Я уже старый, а ты меня пугаешь. Это некрасиво.

– Ты же мне обещал в Ван Хелсинга поиграть! – Дэн размахивал крестом. – Как в прошлом году! Я уже Петьке рассказал, Илье рассказал, как мы тогда здорово поиграли! Когда пойдём? Там терминал собираются ставить, все снесут, ничего не останется. А ты обещал!

– В июне, – ответил я. – В июне. Вот как листва станет погуще, так и пойдём. А то какой интерес-то, без листьев? Вы меня сразу поймаёте.

– Поймаём тебя, носферату! – воскликнул Дэн, потрясая вампироборческой амуницией.

– Хорошо, хорошо. Но только в июне.

Дэн послушно кивнул.

– И ещё, Денис, тебе надо поработать над костюмом. Шляпа, плащ – это нормально, только вот над кольями стоит подумать. Зачем стулья ломать? Пойдите в мастерскую, возьмите обрезки, из них колья и выстругаете. И чеснок ещё нужен.

Дэн поморщился.

– А ты что думал? Ты думал, что меня без чеснока можно побороть? Нет, дружок. Не все так просто. Так что чеснок, колья...

– А серебро?! – с энтузиазмом спросил Дэн.

Я представил, как Дэн переплавляет на серебряные пули фамильный сервиз, и сказал:

– Не, серебро не пойдёт. Серебро – это предрассудки, бабкины сказки. Я сам с серебряных тарелок ем.

Дэн разочарованно вздохнул, видно было, что он имел насчет семейного сервиза большие планы.

- Ладно, - сказал Дэн, - без серебра. Но тогда я еще Светку позову.

- Что?

- Светку, новенькую. Ее ко мне посадили, она меня на день рождения пригласила. А я ее на вампирскую охоту позову. Ладно?

Свету. На охоту. Я поглядел в сторону моря. Я люблю море. За цвет. Это банально и миллион раз говорилось, но оно все время разное - так что все время кажется, что ты живешь в разных местах. Море - это как калейдоскоп, все время тебя переворачивает.

Свету на охоту.

- А что, нельзя, что ли? Почему нельзя, дядь Вить? А что тут такого-то?

- Видишь ли, Денис, - сказал я мудрым и медленным голосом. - Видишь ли, охота на вампиров - это все-таки мужское занятие. То есть женщины на вампиров не охотились никогда...

- А как же Баффи?! - перебил меня Дэн. - Она же...

Я сокрушенно покачал головой.

- Что?

- Баффи - это сказка, - сказал я. - Никакой Баффи никогда не жило вовсе. Баффи, наследники Дракулы, племянники Носферату...

Я зевнул.

- Я тебе крыльцо починю, - пообещал Дэн. - То есть мы с папой, конечно. У тебя две ступеньки прогнили.

Папа у Дэна лодырь. Года три назад мы строили гараж для глиссера, Дэн-старший скис на двадцатом гвозде, пришлось мне доделывать самому.

- Буду убирать яблоки, - пообещал Дэн.

Неплохо. Яблоки осенью проблема, иногда за ночь падает столько, что утром трудно открыть дверь. Очень не люблю их убирать. А спилить жаль - цветут долго и красиво.

- И подметать лестницу к пляжу.

Я зевнул еще шире и сказал:

- Ладно, я подумаю насчет твоей Светы. Только пусть она у родителей разрешения попросит. Она как вообще, не из пугливых?

- С парашютом прыгает, - ответил Дэн.

Я усмехнулся.

- Из стратосферы, - уточнил он.

- Ладно, - согласился я. - Но пусть она у родителей все равно отпросится.

- Хорошо, отпросится. А ты это... Не мог бы... - Дэн скорчил рожу. - Не мог бы ты немного... Постарее быть, что ли. А то ты слишком молодо выглядишь, многие не верят.

- Обойдетесь, - отмахнулся я.

- Ну, или хотя бы рванину какую надень, а?

- Это можно.

- Здорово!

Дэн снял шляпу, принялся обмахиваться. Уходить не спешил, дышал громко.

- Что еще? – спросил я. – Только ничего рассказывать не буду, сегодня я не в настроении.

- Ладно. Слышь, дядь Вить, а там это... Писатель.

- Что за писатель?

- Ну, ходит тут уже неделю. А ты что, не видел разве?

Я покачал головой.

- Я его давно заметил. Он тут у всех про тебя спрашивает. И в столовой, и на стадионе.

- И что? Рассказывают?

- Нет, конечно. Но он липучий. Мне билет на Луну обещал.

- За что?

- Если я его с тобой познакомлю.

Дэн вздохнул.

- Очень хочешь на Луну? – спросил я.

- Хочу. У нас в классе почти все уже на Луне были, только я один нет. Знаешь, у мамы лунофобия, а я думаю, что у меня нет, хотел бы проверить...

Дэн поглядел в небо.

- Понятно, – кивнул я. – Слушай, ты не особо расстраивайся насчет Луны. Там скучно, поверь мне. Впрочем... – Я тоже поглядел в небо. – Впрочем, пожалуй, ты прав, – сказал я. – В юности надо путешествовать, это расширяет кругозор. Тут

главное не продешевить. Одного билета на Луну за знакомство со мной явно маловато, проси четыре.

- Четыре? – удивился Дэн.

- Ага. Папа, мама, сестренка и ты. Слетайте на недельку, глядишь, и мама от лунобоязни излечится.

- А Филимон?

- Я думаю, Филимона тоже можно взять, Луна большая. Так что ты скажи этому писателю, чтобы приходил. Понял?

- Понял.

- Только билеты вперед возьми, нельзя доверять писателям.

- Почему?

- Не знаю. Но старые книги учат именно этому. Иди теперь.

Дэн почесался, уходить не спешил.

- А велосипед? – спросил он. – Когда ты мне его починишь?

- А отец что?

Дэн пожал плечами.

- Он не может. Он по интеллектронике специалист, а велосипед – слишком примитивная техника. А ты можешь.

- Завтра приходи, – сказал я. – После обеда. Может, починю. А теперь домой.

Дэн поволокся к себе, шурша кустами и посвистывая.

Этим же вечером я починил велосипед, на следующий день после обеда Дэн его забрал, а ближе к вечеру появился писатель. То есть журналист, писатели пахнут чуть по-другому.

Он здорово трусил и поэтому залился страшным одеколоном, от которого у меня в голове похолодело. Долго не мог сказать, что ему от меня нужно, все мямлил и мямлил, стоял на пороге, оглядывался назад, так что мне пришлось взять все в свои руки:

- Вы хотите взять интервью?

Он начал болтать про то, что да, интервью, про то, что это интервью будет уникальным, что он добрался до меня с огромным трудом – почти три года искал, вернее, уговаривал сотрудников Института сравнительной антропологии дать мой адрес...

- Интервью – это интересно. – Я почесал подбородок. – Я уже не помню, когда в последний раз у меня брали интервью.

- Семьдесят четыре года назад, – уточнил журналист по блокноту. – Ровно семьдесят четыре года назад, это было в Сиднее. Вы тогда...

- Давайте ближе к проблематике, – оборвал я. – У вас мало времени.

- В каком смысле? – занервничал журналист.

Журналисты мельчают. Раньше приезжали серьезные мужики, волки блокнота и самописца, они готовились к интервью, как к сражению, а этот был мелкий.

- Жизнь скоротечна, – напомнил я. – Особенно ваша. Так что, пожалуй, не будем ее тратить.

- Да, давайте. Я хочу кое-что узнать...

- Может, все-таки зайдете? – предложил я.

Он постеснялся отказаться. Он, конечно, знал обо мне все. Но тем не менее ему было страшно. Я его понимал.

Мы устроились в гостиной.

Он принялся задавать вопросы. Разные. В большинстве своем глупые. Но я терпеливо на них ответил. И рассказал. Что я думаю по поводу закона о всеобщем высшем образовании, что я думаю вообще, даже что я думаю про освоение глубокого космоса, про разумных псевдоулиток, про новую книгу Стрыгина-Гималайского, еще что-то, на все это я ответил, однако журналист не собирался уходить, и я догадался, что одного интервью ему мало.

Он поелозил на стуле и сказал, что хочет написать книгу. Такую большую, серьезную и научную. Не только про меня, он уже договорился с другими последними, они дали согласие. Это очень важно, убеждал меня журналист. Это позволит взглянуть на проблему изнутри, согласитесь, за прошедшее время тема Прощения обросла невиданным количеством слухов, домыслов, откровенных фантазий, а вы, вы ведь стояли фактически у истоков.

– Вы повернули историю человечества, – сказал он. – Многие сравнивают вас с... Колумбом!

Врет. С Колумбом меня никогда не сравнивали. С Ганди очень часто. Не знаю, мне Ганди не нравится. Но я не спорю. И сейчас не стал спорить. Заметил, что люди часто преувеличивают мою скромную роль, но журналист пришел в волнение, схватил меня за руку и сказал, что отнюдь не преувеличивают, многие, очень многие ученые полагают, что все сдвинулось именно благодаря мне, что я первый догадался, как действовать, даже методику разработал... Ну, и так далее. Хотя есть, конечно, и противники, утверждающие, что я совсем ни при чем, что я просто стоял рядышком. Одним словом, его интересовало, как все это было на самом деле. Что неудивительно, их всех это интересует, человечество хочет знать...

Ну, и так далее. Я слышал это не один раз.

– Долгая история, – сказал я. – В двух словах не расскажешь.

– Но все-таки...

Он попытался возразить.

Я улыбнулся. Не ТАК, но, пожалуй, вполвину или в треть. Журналист дернулся и побледнел, практически бухнулся на пол. Неудивительно, в первый раз это производит жуткое впечатление, особенно вживую.

Его затошнило, и мне сразу расхотелось с ним разговаривать. Слабак. Нет, журналисты измелъчали, определенно. Лучшие из них сосредоточены сейчас где-то в районе облака Оорта, на Земле остались щенки и сопляки.

Мне расхотелось с ним говорить, и я сказал, что плохо помню. Все это происходило достаточно давно, я был молод, а жизнь текла, как за стеной, вы же понимаете? Журналист понимал, он принялся рассказывать про особенности нашего восприятия, уверил меня, что он много читал про это и даже пробовал эти особенности восприятия воспроизвести – целую неделю ходил в закопченных очках и под сенсорной блокадой. Но все равно я должен попытаться вспомнить. В интересах научной антропологии, в интересах истории, в интересах еще двадцати двух наук, важных для развития человечества.

– Я специализировался на гемоготике, – сказал журналист. – В университете в Токио, у Цяня. Я защитил монографию про вас... И теперь хотел бы написать книгу...

Я улыбнулся еще раз. Не ТАК. Профессор Киддо Цянь спущен мною с лестницы в Уэльсе, в... лет, пожалуй, сто назад, тогда он профессором еще не был, а был горячим юношей из Эдо, в одной руке ворох болезненных японских комиксов, в другой – раритетный томик Dostoevsky. Нет, сначала я будущего профессора похорошему, конечно, попросил: «Молодой человек, освободите лестницу, ее не для того строили, чтобы вы на ней три ночи спали и пугали своим нечесаным видом соседей». Но Киддо упорствовал, освобождать не желал, наверное, играли свое самурайские гены. Так что пришлось спустить.

С тех пор стараюсь выбирать жилье без лестниц – грядущее светило японской семиотики сломало тогда руку и громко кричало. Я вообще люблю дюны и пляжи, чтобы пахло янтарем и солью.

Да, а этому журналисту я просто улыбнулся.

И снова он дернулся, но в этот раз взял себя в руки уже быстрее, привыкал. Я сказал ему, что меня не очень волнуют интересы большой науки, потому что сама наука лежит вне сферы моих интересов, ну, разве что прикладная механика, мотоциклы, велосипеды и так далее, а потом спросил:

– Кстати, что вы, как специалист по гемоготике, скажете о фильме «Мотоцикл-вампир»?

Про фильм «Мотоцикл-вампир» журналист не знал ничего, плохо профессор Цянь своих студентов учит, мало я его с лестницы спускал, стоило еще из окна выбросить.

– Знаете, я ведь в основном по периоду рассвета, с классикой не так хорошо знаком...

Журналист принялся оправдываться, а я предложил ему пройти в подвал, где у меня хранится небольшая, но со вкусом подобранная коллекция оригиналов: гемоготика, блэдбургер, вервольф-террор. Немного дэд-мокьюментори. Начал собирать еще в молодости, когда работал в коллекторе, такой коллекцией даже ваш Токийский университет похвастаться не может.

Предложил и облизнулся.

Журналист пройти в подвал немедленно отказался, вдруг вспомнил, что у него есть целых три чрезвычайно важных и совершенно неотложных дела, он должен написать пять писем, и вообще. Убежал, запинаясь и вздрагивая корпусом.

Я не видел его, наверное, дня три. И не чуял. Однажды, правда, он приблизился метров на восемьсот со стороны берега, но ближе подойти так и не решился.

На четвертый день журналист заявился. В этот раз от него сильно пахло валерьянкой, он долго мялся, а потом признался. Что он вовсе не хочет написать научную книгу, хочет художественную – я угадал. Но не просто какую-нибудь там, а настоящую, короче, чтобы вечность содрогнулась. Серьезную и душераздирающую. И моя история ему вполне подходит. И что он ее прекрасно знает, история легендарная. Но ему нужно больше.

Знать.

То, что чувствовал я, то, что чувствовала она.

Значит, правильно сказал Дэн, писатель. Потому что ничего не понял. Я даже пожалел немного, что теперь у меня лестницы нет, а то бы я его, бестолкового, спустил бы с удовольствием. Надо же быть таким дураком.

Знать, что чувствовал я... Нет, определенно кретин. Впрочем, что можно еще ожидать от журналиста?

Глава 1

Обещание на рассвете

Я тот день хорошо помню.

Особенно вечер, как всегда долгий, как всегда безрадостный, как Йульский бал в чертогах Снежной королевы, к востоку от Зазеркалья.

В субботу вечером Костромина получала права на собаку, событие само по себе выдающееся, хотя началось все еще с утра. Забежал Лужицкий, он на площадке живет, напротив. С кислым, даже каким-то прогорклым лицом живет, это у нас, конечно, не преступление, но и не норма тоже. Точно в асфальт расплавленный упал этим своим лицом несчастным, да так три дня в нем и пролежал, как динозавр. Я сразу догадался, что сейчас Лужицкий начнет просить, и он, конечно же, начал.

Сообщил, что ему надо спешить, его папа-археолог исследовал капсулу времени, провалился в какие-то каверны и застрял насмерть. А там как раз дорогу строят, и если папу не вытащат в ближайшие сутки, то придется его заасфальтировать, потому что останавливать строительство нельзя никак, остановишь – дорожники уже три дня работают, терпение кончается, вот-вот разбегутся – тогда асфальт застынет, битум застынет, вся дорога испортится, и так ее никогда и не достроят. А папе потом пять лет из-под земли придется выковыриваться, и

неизвестно, выкопается еще или нет, может, и навсегда застрянет. И ему, Лужицкому, надо, значит, срочно бежать выручать родителя из трещины, потому что он к нему должен испытывать как бы сыновьи чувства, так принято, так надо, а тут как раз папа провалился...

Трогательно.

Я возразил. Сказал, что сыновьи чувства не должны входить в противоречие с генеральным планом строительства шоссе, что Лужицкому надо выбрать, что ему ближе – долг перед отцом или долг перед обществом, которому он тоже, в какой-то мере, сын. Что чувства к заасфальтированному родителю можно пытаться пробудить ничуть не меньшие, чем к незаасфальтированному...

Лужицкий, в свою очередь, возразил, что вряд ли его отец хотел быть заасфальтированным, это неудобно – иметь заасфальтированного отца, на него все будут смотреть как на придурка, а на него и так все смотрят как на придурка, а он вовсе не придурок, у него перспективы, так говорят многие...

Мне надоело спорить с Лужицким, и я спросил: «Что, подменить надо»? Лужицкий кивнул и попробовал изобразить на лице просьбу и убедительность. Получилось страшно, и я Лужицкому не отказал.

Лужицкому отказывать, увы, нельзя, потому что он сам никому не отказывал, мне, во всяком случае. Бывало, не хочется на отработку, как бы лень, и Лужицкий выручает, идет вместо.

Или книжку какую редкую посмотреть, «Мотобол для чайников», или про игру в нарды, или «Введение в нейронавтику», так у Лужицкого легко найти, у него старший брат в центральном городском коллекторе служит, может достать. А тогда еще вот – мы поспорили про подоконники, я выиграл – и Лужицкий честно простоял все зимние каникулы на крыше. Я его простил уже на третьем дне, но он все равно отстоял, сказал, что он поспорил и будет выполнять условия пари, как настоящий кабальеро и джентльмено. Лужицкий превратился почти в сосульку, но все равно не сдался. Новый год пропустил. Братья Сиракузовы хотели его петардами обмотать и немного взорвать, да я отогнал. Это к делу, конечно, не относится, но все равно хорошо Лужицкого характеризует. Я его к.б. уважаю. И хотя мне совсем не хотелось в такую рань никуда идти, я обернулся прорезиненным плащом, вооружился ножницами, прицепил на спину крюк и

двинул на проспект Бумажников.

Лужицкий отрабатывает в велосипедной команде, это не самая веселая отработка, если честно. В коллекторе сидеть лучше, спокойнее, во всяком случае, и мозг развивается. И не так глупо, как велосипедить. Но деваться некуда. Я поскреб лоб ногтем и начал отрабатывать.

Первый велосипед был детским, это считалось хорошей приметой. Трехколесный, синий, закрученный практически в спираль, он лежал возле Четвертого переулка и печально поскрипывал педалями, наверное, скучая о хозяине. Я поднял его, свернул в кольцо, смял в компактный железный ком, нацепил на крюк, пошагал дальше по аллее.

Метров через пятнадцать лежала уже серьезная спортивная машина, сейчас таких осталось совсем мало. Моноамортизатор сзади, пневмовилка спереди, передачи, шестеренки, цепь с резиновыми втулками. И все в чрезвычайно плачевном состоянии, разорвано, скрючено... Потратил на него почти пять минут, приложил усилия – велосипед наполовину состоял из прочнолегких сплавов, поликарбона и модифицированной резины, сплавыгнулись туго, поликарбон вообще не гнулся, резина растягивалась, пришлось пустить в ход ножницы. Настриг байк на несколько больших кусков без надежды на восстановление, насадил на крюк и продолжил обход.

Велосипеды встречались один за другим, по аллеям проспекта Бумажников любили кататься, многие просто гоняли, другие ехали на работу. И те и другие старались чересчур, компенсаторами, разумеется, не пользовались, техника не выдерживала, даже самая лучшая. Поэтому утренняя аллея проспекта Бумажников походила на настоящее велосипедное кладбище, не знаю, есть ли такие, наверное, есть.

Года три как велосипеды пытались запретить. По причине, что слишком много времени на них тратилось. Мода пошла лет, наверное, пятнадцать назад, с чего началось, никто не помнил, во всяком случае, я не знаю. Все вдруг как-то разом пересели на велосипеды, искали их, чинили, катались, ломали, бросали, искали другие, собирали из пяти один, потом из восьми один. Кажется, это было единственное наше массовое увлечение, необъяснимое, загадочное, чтобы разгадать, даже привлекали людей из Академии наук, комиссию создавали.

Но и люди не разгадали. Флуктуация, вот и весь рассказ. В целом же комиссия сделала положительные выводы, отметила, что велосипеды запрещать не надо, это положительный, хотя и необъяснимый феномен.

И на велосипедах до сих пор продолжали гонять. И бросать. У нас ведь терпения никакого – чуть сломалось – бросили и дальше пошли, на следующий день можно другой взять. А если велики с улиц не убирать, то все это очень непроходимо делается, заржавеет, вроснет в землю, обомшеет, просто велосипедные джунгли случаются. Вот и приходится убирать. Иногда убирают ребята из городской Ассоциации волонтеров, а чаще школьники отрабатывают, мы то есть.

Отработки есть всякие, каждая непохожа, это чтобы бороться с энтропией разнообразием, в точности по рекомендации Академии. Велосипеды можно по бульварам собирать, в коллекторах дежурить, старый асфальт ломать и отвозить в переплавку, или на химическом заводе, или в металлоприемнике, да вообще работы много, а рабочих все время не хватает. Хотя энтропия, если честно, от многих причин зависит, от воспитания, например. Вот братья Сиракузовы все время от отработки отлынивают, асоциально себя ведут, известные маргиналы. У них прадедушка, кстати, не в колбе, как в приличных семьях, а так, в собственном соку лежит на диване, кожей обрастает. А Сиракузовы его кислотой протирают, чтобы не оуклился. Так уже три года дедушкой и прикрываются, на отработку через третий раз выходят – и уже совсем дураки, хотя еще и молодые. Еще чуть – и все, оуклятся сами, чресла вроснут в кресла.

Вообще, лучшая самая отработка – это, конечно, загородные районы разбирать. Пригород. Западный Берег, Заречье. Там культуры много всякой сосредоточено, а она энтропии противостоит, даже если совсем в ней и не разбираешься, сама по себе. Опыты даже проводили – если в семье присутствует хоть какая культура, статуя в углу или репродукции великих живописцев, то в этой семье оукливаются в полтора раза меньше. Но школьников за город, к сожалению, совсем редко вызывают, потому что ответственность большая, опытные работники нужны. Хотя и в коллекторе тоже, если честно, неплохо, спокойно так. А вот велосипедить мне не очень нравится, так вот, рутинная работа, а я люблю к.б. творческую.

Остановился возле памятника Кутузову, как раз посередине проспекта Бумажников. Возле памятника есть бассейн, и в нем всегда полно велосипедов,

почему-то многие считают, что кинуть велик в бассейн – это очень по-человечески, широко, предрассудок такой дикий. Вот и кидают. А мы достаем, утилизируем. Потом их на ремзавод отвозят, кидают в дробилку, измельчают, переплавляют в болванки, складывают до лучших времен.

Вообще-то тут рядом с постаментом багор должен особый храниться – специально чтобы велики доставать. Я пошарил, но багра не обнаружил, увели. Лезть в воду не хотелось, но пришлось, работу следует выполнять хорошо и до конца. Иначе...

Я продавил тоненький лед поверху фонтана. Вода была мутной, густой и неприятной. Я наклонился, опустил руки и нащупал голову. Самую настоящую – уши, нос. Понятно. Потянул за уши. Из воды показался энтропик. Мерзкого желтого цвета. И уже какие-то пиявки завелись в глазах, шевелятся, копошатся. Удачненько день начался, ничего не скажешь. Хотя...

Хотя это довольно часто случается – я про энтропика, конечно. Распространенное у нас явление. Сначала на работу перестает заглядывать, книжки читать перестает, зубы полировать, потом про еду забывает – и все, готов, посыпался. Когда души нет, тело стремится к распаду. Поэтому надо держать себя в руках. Держать. Читать, в кино ходить, в шахматы играть. А то...

Я прикусил язык, сплюнул через левое плечо. Сам виноват – слишком уж раздумался. Не надо про нее думать – плохая примета. Тьфу. Тьфу сорок раз.

Я посмотрел на энтропика. Все, безнадежен, тотальный аут. Рот слипся, глаза затянулись, руки к телу через костюм прямо приросли. Гадость. Ненавижу энтропиков, тошнит от них. Но бросать нельзя, это тоже правило. Вытащил дохляка на сушу, прислонил к постаменту Кутузова. Потом энтропийная команда заберет.

Лезть в воду мне совсем перехотелось, ну его. А вдруг там эти энтропики еще есть? Говорят, они иногда целыми семьями окукливаются, наследственность срабатывает, менталитет. Вроде как ген такой есть – ген плохого настроения, у людей он вызывает депрессию, у нас – энтропию. Некоторые вообще считают, что они заразные, между прочим. Это, конечно, бред и сплошные суеверия, но...

Все равно лишний раз энтропика трогать не хочется, ну его. Достал пузырек с кислотой, продезинфицировал руки. Кожа побелела и слезла почти перчатками, я протер ладони о брезентовую куртку, ободрал до красного, подул. Конечно, не заразно, суеверия, конечно.

Энтропик качнулся, и отлип от гранита, и упал лицом в асфальт. Поднимать не хотелось, впрочем, его и так найдут, пожалуй, пусть себе лежит потихонечку. Я огляделся и отправился дальше собирать утренние велосипеды. Совсем немного отошел от фонтана, может, с двести метров, вдруг раз – свистят. Обернулся.

По аллее с какой-то нереально космической скоростью несся очередной гонщик. Я издали еще услышал – разлетелся подшипник в ступице, шарики рассыпались и, скорее всего, смазки нет вообще, велосипед запущен до безобразия, за ним, кажется, никогда не ухаживали. Но сам гонщик этого ничего не замечал, жал на педали, навалившись на руль, выставив зубы на три километра, с перекошенным зверским лицом...

Кажется, велосипед был придуман как средство для веселых прогулок. Томные английские барышни совершали прогулки по вересковым пустошам, дышали свежим морским воздухом и радовались беспечной жизни. Интересно, что бы они подумали, увидев вот этого ездока?

Гонщик давил на педали. Затем случилось должное – подшипники спеклись, ось заклинило, переднее колесо сплющилось, и ездока катапультировало через руль. Он не стал группироваться, как обычно, полетел враскоряку и потащил за собой машину – штанину затянуло в цепь, гонщик проехался по асфальту, наматывая велик на себя, тут же поднялся и пошагал себе дальше. Как ни в чем не бывало. Велосипед волочился следом, но он заметил это только шагов через десять, проходя мимо меня. Обернулся, дрыгнул ногой, велик отскочил, мне прибавилось работы. Так вот.

Этот выглядел грустно. Да-да, бывают грустные велосипеды, печальные. Старый, с облупившейся краской, на камерах грыжи в кулак, на руле дурацкие пластиковые розочки. Мило.

А еще бывают веселые. Блестят хромом, гремят звоночками, погрохатывают крыльями, точно взлететь собираются. Когда такой видишь, на душе какая-то к.б. радость приключается, будто весна, новый день, к.б. надежды всякие.

И злые бывают велики. Вредные, глаз да глаз за ними нужен: то тормоза переклинит – и носом об асфальт, то колесо вскочит – и через руль, про звездочки я молчу, и дребезжит так, будто хохочет демонически.

Хитрые. Ну, эти все исподтишка делают, чуть что бац – спица из обода вылетела, и колено в двух местах навывлет. Ну, штаны зажевывает, это само собой, штанов не напасешься, некоторые, я заметил, специальные кольчужные штаны носят.

Разные велосипеды бывают. А этот печальный, свернули ему шею, лежит в тоске, кривыми колесами не шевелит. Поглядел я, поглядел, подцепил этого грустного, насадил на крюк, бедолагу.

Впрочем, это тоже наша особенность. Склонность одушевлять предметы. Бывает, ничего не могу с этим поделать, с велосипедами особенно. Иногда им даже клички придумываю: Хромой, Хрипатыч, Короед. Но редко. Если придумывать клички, потом трудно на крюк сажать.

Из-за дерева выбрела сомнамбула. Самая настоящая. Настоящий то есть. Лет, наверное... трудно сказать. Выглядит вполне ухоженно, видно, что с принципами, и пуговицы все на месте, и галстук. Глаза завернуты под лоб, руки чуть вперед выставлены и подрагивают, все как полагается. Ковыляет.

Прямо на дорогу.

Вот такое утро. И энтропик, и сомнамбула. Надо было сразу понять, что неспроста это все. Знаки, возможно, предупреждение какое.

Я стал думать про знаки, и про предназначение, про все, как оно устроено, отвлекся и обнаружил, что сомнамбула все прет и прет на дорогу, а на дороге гололед, между прочим.

Сомнамбулы – они всегда так, ходят только прямо, никуда не сворачивают. Мозги потому что заклинивает, как у больных голубей. Сидит-сидит, бац, в башку стрельнет, вот он гулять и отправляется, дома не спится ему. Сомнамбулы безопасны, в принципе, но только на дороги любят выскакивать, создавать помехи движению. Поэтому их по утрам специальные машины отлавливают – СЭС – сомнамбулическо-энтропийная служба. Конечно, она не успевает иногда, поэтому если сомнамбулу видишь – ты его смело направляй в

ближайшую стену – он в нее до рассвета будет идти, или пока не проснется.

А еще на них гадать можно. Сзади заходишь, а потом по голове его бамс! Главное, не сильно, чтобы совсем шею не свернуть. Ты его хлопнешь, значит, а он что-нибудь и скажет. В сумерках сознания. Вроде как будущее тебе предречет.

Сам я никогда не гадал, девчачье это занятие, а тут вдруг чего-то захотелось. Наверное, энтропик этот дурацкий меня сбил с толку, на мистический лад настроил. Так что догнал я сомнамбулу, попал ему в шаг, ну, и по голове кулаком приложил. Несильно так, килограммов в двенадцать.

Конечно же, он не обернулся, буркнул что-то неразборчивое, даже я не понял. Я его тогда еще разок приложил, чуть сильнее, килограммов в шестнадцать.

– Когда-нибудь, – сообщил сомнамбула отчетливее.

Когда-нибудь. Весело. Вот Сиракузовы догнали как-то раз сомнамбулу, стукнули – так он им прямо так и сказал: «Акваланг». И не прошло и полгода, как их отец выиграл акваланг в лотерею. Правда, зачем ему акваланг, непонятно, но все равно. Так что про сомнамбул это правда. А что значит «когда-нибудь»? Поди разберись. Когда-нибудь.

Я даже думать на эту тему не стал, побрел дальше велосипеда собирать, стремиться к норме. Но дальше ничего интересного уже не попадалось – обычное все, ржавое, кореженное, многократно починенное, латаное-перелатаное, и лишь в самом конце проспекта встретил интересное, так что остановился и посмотрел, стараясь запомнить. К мотоциклетной раме с мотоциклетными же колесами приладили педали, которые через редуктор и карданный вал передавали усилие на заднее колесо. Конструкция получилась с виду весьма прочной, во всяком случае, выглядела надежно, малоубиваемо, не то что обычные наши велики. За рулем сидел вуп лет, наверное, сорока, по-нашему, крутил с энтузиазмом педали, в спицы даже открытки вставил, а к седлу колокольчики привязал. Здорово у него получилось, я даже подумал, что неплохо бы себе такой завести, только где мотоциклетные детали отыскать, не знаю.

Интересно, сам он это придумал? Если сам, то тут налицо к.б. творчество, то есть вполне себе по заветам сделано, к.б. развитие, и даже, пожалуй, некоторый анабасис. Почти жизнерадостно.

Да и сам велосипедист выглядел неплохо, улыбался и радовался, видно, что через силу, но все равно улыбался. Не у каждого это получается. Я засмотрелся вслед этому жизнерадостному и тут вдруг услышал:

- Эй, Полено!

Я обернулся. Костромина. С двумя великами под мышками – помощь мне оказать решила. Странно.

- Привет, – сказал я и к.б. обрадовался.

Я, когда вижу Костромину, всегда как бы радуюсь. И как бы улыбаюсь.

- Привет, – повторил я.

- Держи, Поленов, тут недалеко нашла. – Кострома нагрузила на меня велосипеды.

- Спасибо...

Не ожидал, если честно. Кострома редко поднимается раньше семи, соблюдает режим, а тут что-то случилось. Явно случилось. И велики эти. Что-то ей от меня нужно.

Так и оказалось.

- Поленов, сначала пообещай, что выполнишь мою просьбу, – потребовала Костромина. – Немедленно.

Есть у нее такая привычка. Возникает вот так, вдруг, ни с того ни с сего, утром, или ночью даже, скребет пальцем в окно и просит, чтобы я пообещал. Пообещай, пообещай, пообещай.

Я обещаю. Летом из поликлиники приходил энтропатолог, проводил диспансеризацию. Толщину глазной пленки, частоту дыхания, ну, все, что полагается, одним словом. Силу воли тоже, между прочим. Сила воли у Костроминой в три с половиной раза крепче, чем у меня, так что мне Костроме очень сложно противостоять. Я обещаю.

- Обещаешь? - прищурилась Костромина.

Я к.б. обреченно кивнул.

- Я знала, что ты мне поможешь.

Костромина подмигнула. Ресницы на правом глазу отвалились. Они у нее всегда отваливаются, клей никак не может подобрать, к.б. злится от этого. А я вообще без ресниц хожу, и ничего, никто пальцем не показывает.

- Да, - ответил я. - Я тоже знал. Всегда.

- Вот и хорошо, - сказала Костромина. - А чего это ты здесь? Луже, что ли, опять помогаешь?

Я промолчал.

- Зря. - Костромина приклеивала ресницу. - Зря с ним возишься.

- Почему? - спросил я.

- Он же аут-положительный. Бесперспективный. То есть совсем.

Я промолчал. Лужицкий, конечно, в силе воли не чемпион, но все же не аут.

- У него же на лбу написано, что через пару лет окуклится, - сказала Костромина. - Не, если ты хочешь с ним в ноль вывалиться, дело твое...

Костромина уставилась на меня. И я на нее.

– Ладно. – Она махнула рукой. – Каждый умирает в одиночку. Давай, Полено, велосипедь. Пока. Вечером встретимся.

– Встретимся, – кивнул я. – И это... я тебе помогу. Как обещал.

Силы воли нет. У меня.

– Нет, вечером по другому поводу, – поправила Костромина. – Вечером у меня собака, а сможешь ты мне вообще. Завтра. Или послезавтра. Ясно? Когда понадобится.

Чего же яснее?

Видимо, на лице у меня непроизвольно возникло к.б. недоверчивое выражение, и Кострома тут же спросила с к.б. угрозой:

– Какие-то затруднения, Полено?

– Да ну, что ты...

– Если не придешь – ты мой враг на всю жизнь, – напомнила Кострома. – Так и знай. Я прощать не умею.

– Приду, – пообещал я.

– Приходи. – Костромина погрозила пальцем. – Не забывай. Это очень важно.

И убежала.

А я остался на проспекте Бумажников. Собрал еще несколько искалеченных велосипедов, насадил их на крюк, понес на школьный двор. Шагал, смотрел на отражение в витринах и в лужах. Смешно к.б. Лома скопилось довольно много, и среди него меня совсем не различалось, отчего казалось, что гора металла движется сама по себе. Интересное зрелище, мне показалось, что немного художественное.

На школьном дворе металлолома скопилось уже много, куча до второго этажа, все никак вывезти не могли. Если так дело пойдет, то скоро к школьным дверям и не пройти будет. Я сбросил свой хлам к остальному хламу, а потом сбежал домой за учебниками и вернулся в школу.

Сегодня в школе не произошло ничего интересного, все целиком по программе. На географии в четвертый раз проходили про Америку, где она расположена, какая там природа, климат, реки, ну и так далее. На физике про сопротивление материалов, тоже в какой-то уже баснословный раз, я даже совсем позабыл, в какой, впрочем, кое-что из сопротивления материалов я помнил. Потом была технология, и учитель рассказывал нам про разные хорошо забытые технические новшества, например, про сотовые структуры. Оказывается, если отлить пластик в виде сот, он гораздо прочнее, чем обычный, во много раз. Технолог дал братьям Сиракузовым сначала обычный кусок пластмассы и велел рвать. Они дернули – разорвали враз. Тогда он им сунул сотовую пластмассу. Сиракузовы дергали-дергали, ничего не разорвали, дураки, наглядно продемонстрировав превосходство разума над бессмысленной плотью.

Следующие два урока я не воспринял, кажется, раньше я на них уже присутствовал, а может, и нет. Мозг перегрузился и не функционировал. Но я все равно присутствовал, усердие должно быть.

Костромина на уроках не присутствовала, готовилась к собаке. К пятому уроку вообще половина класса рассосалась, но я терпел. И к шестому терпел, когда вообще почти никого не осталось. Упорство должно присутствовать. А потом, я обещал Костроминой. Не сегодня, а раньше, давно. А еще этот энтропик утрешний у меня перед глазами стоял. К.б. страшно все-таки, не хочется выйти в аут, помни об ауте, аут рядом, протяни руку.

После шестого урока поспешил домой и лег в гроб. Шучу. В кровать я лег и лежал там до вечера. До собаки Костроминой.

Глава 2

Человек среди нас

И лежал там до вечера. Старался не думать, но не получалось, энтропик, проклятый энтропик не отпускал. Энтропики привязчивые, как прицепятся, так думаешь о них, думаешь, аут рядом, помни об ауте...

Я к.б. не люблю энтропиков. Больше, чем остальные вокруг. У меня сестра была. Старшая. Как-то раз утром поднялся, а она, смотрю, у окна сидит, по подоконнику пальцем водит, по пластику скребет, скребет. Я подошел: «Доброе утро», – говорю, а она на меня и не поглядела. А я тогда еще маленький был, дурачок, не понял, что происходит. Родители на работе как раз, они вообще почти всегда на работе, за окном дождь, в комнате полумгла, а сестра сидит, пластик из окна выковыривает. Ну, я зубы полирнул и в школу побежал. А вечером...

Энтропия – страшная штука. Неизлечимая. Безнадёжная. Аут, аут. Ничего с ней не поделаться, как ни кричи. Потому что так. Нам ничего не хочется. Я когда читаю старые книжки про таких, как мы, я всегда смеюсь. Как бы. К.б. смеюсь.

Там нас так описывают...

В тех книгах мы умные. Гораздо умней людей. Ученые, мыслители, мудрые, пропускающие время сквозь пальцы, Сократы и Спинозы каждый второй.

Властные, честолюбивые, то войну организуем, то империю построим какую. Холодный мрамор Эллады, ярость Спарты, сталь легионов Рима, золото Византии, это все мы, мы, стоящие чуть в тени от тронов, серые кардиналы, вдохновители старой клячи Истории, алхимики Предназначения.

Те, кто обходит ряды над пропастью во ржи.

Творческие, это само собой. Все сплошь художники, композиторы, писатели, в театре играем, скульптуры высекаем из мрамора. Безвестные поэты, авторы запрещенных трактатов и новых философий, остерегающих мир от падения.

Атланты, все еще держащие отяжелевшее небо.

Так мы изображены в романах. А некоторые из нас в этих романах даже любят. Грациозные красавцы, обуреваемые необузданными, как океан, страстями.

Томные бледные красавицы, коварные, неотразимые и роковые Клеопатры...

Вот это уж совсем бред. Собака может плакать, может смеяться, и любить тоже, наверное, может, кошки могут, даже попугаи. Не исключено, что даже крысы, не знаю. Мы – нет. Мы не можем.

Любить. Бояться. Смеяться. Ничего.

Ничего нет. Ничего не хочется. Как бы.

Нельзя хотеть, если у тебя нет того, что, собственно, и хочет. Души. А я уже говорил – без души тело приходит в прах. Рассыпается. Сначала катаракта – такая синеватая пленка на глазах... А потом они вообще зарастают. Пальцы на руках, затем и сами руки, и ноги, все слипается, как теплый пластилин, а через несколько дней...

Прах.

Сестра обернулась ко мне, а на глазах пленка. Глаза сделались голубые, а я тогда и не понял.

Из школы я побежал на Набережную дразнить рыбаков и до темноты кидал в воду камни. Рыбаки были отвратительно терпеливы, и сколько я ни старался, я не мог вывести их из себя. Вернулся домой уже вечером. Сестра все еще сидела в комнате. Я спросил у нее что-то, но она молчала. Тогда я включил свет и повернул сестру к себе.

У нее уже не было лица. Ни глаз, ни рта, ни носа, поздно что-то делать, мертвая маска гладкой толстой пленки, покрывшей голову, вытолкнувшей волосы, которые лежали на подоконнике неопрятными лохмами.

Следующим утром мы ее похоронили. Отец и мать стояли и смотрели, мать терла глаза луком, отец щипал себя за ноздрю. Они хотели заплакать, но ничего не получалось.

Потом я узнал про энтропию больше. Что она накапливается день за днем, собирается в клетках, собирается в мозгу и может выплеснуться неожиданно, в

один момент, как усталость металла. И в этот момент ломается и без того чудовищный гормональный баланс, и резко разрастаются соединительные ткани, утолщается кожа, меняется структура кальция в костях, все, распад, аут, причем взрывом, за несколько минут...

Ладно.

Вечером Костромина получала права. Она уже давно похвалялась, только не верил никто. Я тоже не верил, если честно, Костромина слыла известной вруньей, еще с детства, к.б. выдумщицей.

То рассказывала, что случайно узнала секрет левитации, это несложно, при определенном упорстве за полгода можно выучиться взлетать к потолку. А когда желающих нашлось почти дюжина, объявила, что СЭС запретила ей проводить тренинги ввиду их сверхэффективности. Потому что всем, кто осваивал искусство левитации, приходилось носить с собой пудовые гири – иначе их немедленно уносило в стратосферу.

То сочиняла про то, что дядя прислал ей из Австралии сушеную кикимору, и если эту кикимору правильно размочить уксусом и укропным маслом, она оживет и будет верно служить своему оживителю до гроба. Мы опять поверили и ходили смотреть на кикимору, но, как оказалось, лицезреть ее можно только сквозь особые густозеленые очки, через которые ни черта, если честно, видно не было.

Много чего еще Костромина рассказывала, сразу и не вспомнишь. Я уже научился отличать правду от вранья, а другие вот нет, верили и иногда через это претерпевали неприятности и ущемления.

А еще как-то раз Костромина наврала, что Рышард Погробиньский – ее прямой родственник, только тут уж никто, само собой, вообще не поверил.

Лично я ей не то что на собаку, на хомячка прав не выписал бы. Точно. Несмотря на то, что мне Костромина к.б. нравится и все такое. Как-то зоопарк к нам привозили, ну, ничего, пошли с экскурсией, считается, что зоопарки от энтропии здорово помогают. На самом деле, кстати, помогают, жаль, что мало их у нас. Так вот, в зоопарке, все как полагается, выдали нам маски, объяснили, феромонами побрызгали, стали смотреть. Так от Костроминой животные даже через маску шарахались. Даже от Лужицкого не шарахались, даже от

Сиракузовых нет, а от нее – да. Животных ведь не проведешь, они чувствуют.

Вообще, животные нас не любят, что, конечно же, понятно. Я их понимаю. Заяц не может любить волка. Я могу представить, что бы чувствовал заяц, вокруг клетки которого бродила бы стая волков. Вряд ли бы он стал радоваться. А Костромина... Она, видимо, волк в квадрате. Тигр, тигр. Костромина может испугать кого угодно, она и меня к.б. пугает. Но вот на собаку Костроминой права почему-то выдали.

Взяли и выдали.

Из-за упорства, я так думаю. Костромина особенно уперта, в дедушку, наверное, он в одиночку переплыл вокруг света на надувной лодке, три года на это потратил. Вероятно, Костроминой передались его гены. Только потомственно упорный человек может в нашем возрасте получить права на собаку.

Когда год назад к нам в класс пришел инструктор-кинолог, многие записались. Еще бы. Иметь кошку или собаку – это престижно, это означает, что ты можешь ужиться с теплокровным, это значит, что в твоём сердце не полный хлад.

Это значит, что до аута тебе еще далеко.

Раньше у многих людей жили кошки или собаки, про это все знают. И хотят заводить. Но это не так просто, как раньше. Сейчас для этого надо пройти обучение, годовые курсы. Обучение бесплатное, но посещать приходится каждый день почти. Чтобы рефлексы наработать. И у себя, и у животного. Ну, и для того, чтобы доказать свою непоколебимость.

Сиракузовы тоже вот записались, оба брата, и Карп, и Марк, Кукульканов Михаил из старших классов, еще другие ребята. Но дольше недели никто не вытерпел, бросили. А я даже записываться не стал, я вообще к.б. ленив, по телику до второй серии не могу дотянуть, какая мне собака? Мне бы черепаху, хотя, наверное, я и с черепахой не справился бы. Я бы все время думал о том, что она думает... С ума сойти можно. Да и вообще, мне бы не окуклиться, это да, в аут бы не вывалиться, какая уж мне черепаха.

А Костромина ходила и ходила на эти курсы. Каждый вечер. Ходила, конспектировала, вникала, как кормить, как гладить, как выгуливать, как

лечить, как ухаживать, все дела. Упертая Костромина. К.б. целеустремленная девушка, очень серьезная.

Собака тоже училась. Собаки вообще-то переносят нас гораздо хуже, чем остальные животные. Это потому, что они уже тысячелетия с человеком рядом, они чувствуют тигра, чувствуют зло. Но если долго стараться, то и медведя прыгать с парашютом можно выучить. Так что привыкают и собаки. Тоже где-то за год-полтора. Не все, конечно, некоторые собаки не склонны к компромиссам, но большинство да.

И вот год минул, и теперь в торжественной обстановке выдавали права. Троим. Какому-то совсем уж замшелому вупу, кажется, в музее он работал, ровесник Грюнвальдской битвы, заслуженный вурдалак Евразии. Решил под старость лет собаку себе завести, чтобы не одиноко было коротать бесконечные вечера, чтобы дома пахло хоть какой-то жизнью, чтобы утром пес приносил тапочки и требовал корма. Такой древний дракула, давно пора в колбу, а он все пыжится. Три года учился, между прочим, никак не мог запомнить, сколько раз псинку в день кормить и сколько выгуливать. Но как-то одолел, тоже, наверное, из упорных.

Кроме старого вупа еще одна пиявка получала, на вид тоже лет сто, не меньше, от древности кожа на черепе трескается, а туда же. Вот этой я бы точно права не давал. Она, видите ли, кошечку завести решила. Так она на эту кошечку так поглядывала, что сразу все ясно было: не заживется кошечка на этом свете. Хотя, может, и ошибаюсь.

Ну и наша отличница Костромина была третьей, кому курсы удалось закончить.

Собрались в клубе, сели в кресла, музыка заиграла, конфетти посыпалось, праздничное настроение к.б., фейерверк загорелся. Стали приглашать на сцену любителей животных.

Первого старика вызвали, он оказался Цукеркиным, хотя на вид и не скажешь. Вышел этот вурдалак на сцену, ну, все собравшиеся давай хлопать – так ведь у людей принято. Хлопают, стараются, зубами щелкают, он кланяется с заметным скрипом в пояснице, точно из дерева его выстругали, а он взял да и размок. Душераздирающее зрелище, одним словом, ха-ха, если бы кто нормальный увидел, надорвался бы от смеха.

Потом на сцену вылезла такая унылая распорядительская вурдалачиха, руками помахала, все, значит, хватит хлопать, потолок обрушится. Все остановились, а старик прочувственную речь произнес.

Что, мол, не чаял даже и дожить до такого счастья. Что его мама с детства мечтала, а потом и он с детства мечтал, страстно тянулся, а все не получалось – животных было слишком мало, буквально единицы, не всякий простой вупырь мог себе позволить. Но спасибо Всеобщему департаменту, который заботится об утлых суденышках нашей безрадостной жизни...

Ну, и так далее, с положенным по ситуации драматизмом. Даже слезу под конец изобразил, вроде как потекла. Платочек достал, вытирать стал. Тут все собравшиеся тоже – достали платки и стали вытираться, и я с ними. А как по-другому? Момент же трогательный, надо, значит, плакать, классики так прямо и рекомендуют. Справа от меня целое семейство сидело, муж, жена, два пацана, так отец пузырек достал – и им всем даже слезы вбрызнул, ну, чтобы уж совсем по-настоящему выглядело.

Другие втихаря себя по носам стали лупить, и у некоторых даже получилось – выжали по слезине, молодцы.

У меня ничего не получилось, конечно, а этот старый вуп смог и радость изобразить – ура, крикнул, братцы, жизнь налаживается! Глядишь, доживем до того светлого дня, когда и нам солнышко посветит.

Все одобрительно загудели. Я тоже загудел, а что? Я тоже надеюсь, я как все.

Потом выступала кошатница. Сказала она почти то же, что и старый вуп, только еще улыбалась все время. Совершенно, между прочим, зря, клыки у нее были сто лет не чищенные и длинные, как у моржа.

Но ей тоже хлопали. И рыдали. Так полагается, никуда не деться.

Последней на сцену поднялась Костромина. Она была сегодня ничего, красивая. Поговаривали, что ей отец купил весьма недешевые алмазные зуборезы, так что Костромина выглядела аккуратно и прилично, почти как человек. Алмазные зуборезы – это тебе не болгарка, это вещь, тонкая механика, эффективная.

Костромина немножко покривлялась на сцене и тоже стала рассказывать, как она с детства мечтала да как ее мама мечтала, да как еще ее бабушка мечтала, короче, все мечтали, а повезло одной ей. И она оправдает и не посрамит и высоко поднимет знамя...

Далее последовала процедура умиления, а затем не мешкая приступили к клятве, потому что интерес публики стал стремительно угасать, еще бы чуть, и пришлось бы гематоген разбрасывать. Получающие права клялись содержать животное в сытости, в чистоте, холить его, лелеять и обеспечивать безопасность. Старый вуп, не менее старая вупиха и Костромина, они все торжественно проговорили свои клятвы, расписались в гроссбухе, фальшиво прослезились. И им выдали права. Самих животных выдавали на следующий день, в целях предосторожности, чтобы хозяева от энтузиазма не задушили их раньше времени.

Все.

Вечер закончился, и все потащились домой. Я провожал Костромину, нам по пути, не то чтобы провожал, просто плелся рядом и не очень понимал, зачем меня было на весь этот цирк заманивать.

Шел обычный вечерний дождь, и Костромина достала яркий зонтик, хотя понятно было, что от дождя ей ни жарко ни холодно. Но с зонтиком правильнее. Раскрыла и сразу стала приставать ко мне – чтобы я этот зонтик тащил.

– Надо, чтобы все как у людей. – Костромина тыкала меня в бок локтем. – Девочка идет, а джентльмен несет зонт. Так принято, ты же понимаешь? Или ты не понимаешь?

– Понимаю.

Я взял зонт, в конце концов, мы не вупыри закладбищенские, культуру в общих чертах знаем. Зонтик оказался тяжеловат для подобного изделия, приглядевшись, я обнаружил декоративные свинцовые утяжелители – Костромина не искала легких путей, это тоже было вполне в ее духе – свинцовый зонтик.

Это качество мне в ней тоже нравилось. Нацеленность на преодоление трудностей. У нас ведь с трудностями особо не принято бороться, много сил на это уходит, а их и так негусто. К.б. душевных. То есть энергетических. А с энергией у нас сложности, хотя у Костроминой ее и больше, чем у меня, так и энтропатологи говорят... Хотя я, кажется, уже это говорил, да, свинцовый дождь со свинцовым звуком падал на свинцовый зонтик, мы со свинцовыми лицами шагали по тротуару.

- Ты знаешь, что в досуговом центре открылась новая секция? - спросила Костромина. - Очень оригинальная, новое направление.

- Кружок цепеллинов? - к.б. без энтузиазма спросил я.

Дурацкое занятие. Садись в цепеллин и катаешься туда-сюда над городом. И все это время тебя тошнит, тошнит, тошнит. Считается, что это возвышает. Чем дальше от земли, чем меньше тяготение, тем легче душе, так считают многие. А я от высоты не в восторге, от одного вида цепеллина меня начинает мутить.

- Нет, не цепеллин, - покачала головой Костромина. - Кстати, тебе на цепеллин не помешало бы походить, полет - это очень похоже на жизнь, так и в книгах пишут.

- Нет уж, спасибо, мне одного раза хватило, - ответил я.

Мне действительно одного раза хватило, сдуру записался тогда, послушал Костромину. И сделал ведь все, как учили, и мышцы расслабил, и глаза закрыл, а вот едва над крышами поднялись, как началось. Даже глаза не открывал, вниз не смотрел, не ужасался. Просто почувствовал пустоту под собой, и мне мгновенно стало плохо. Очень то есть плохо, никогда так не было, просто вывернуло, пришлось потом желудок чуть ли не плоскогубцами заправлять. Потом меня с этого цеппелина пришлось отскребать, я так в него впился, что не мог отпустить целый час. А уж посмотреть вниз меня вообще никто заставить не мог.

И вообще, ничего человеческого в этих полетах нет, я в этом вполне убедился, человек должен по земле ходить, он вам не мышшь летучая, и не надо на всяких там Лилиенталей кивать, сдается мне, не правы они были, заблуждались трагически.

А еще я на икебану записывался, ничего, интересно, в икебане мне понравилось, только непонятно – зачем все это? Это, кстати, большой вопрос – зачем? Говорят, половина аутов от того происходит, что вупы начинают задавать себе вопрос «зачем». То есть зачем жить дальше, если и дальше все будет так же?

– Мне не понравились прыжки, – сказал я. – Бессмысленная вещь, лучше уж икебана. Можно научиться составлять букеты из чертополоха...

– Икебану закрыли, – перебила меня Костромина. – От нее одно расстройство было, сам знаешь.

Ну да, расстройство. Сложно составлять цветочки, один букет соберешь, пятнадцать в кашу. Именно поэтому я и ушел, не мог цветы давить. Конечно, до настоящих цветов нас вообще не допускали, но и бумажные жалко. Я слышал, потом пробовали букеты из пластиковых цветов составлять, а потом и вовсе из жестяных, они ломались все-таки поменьше. Но это совсем не то ведь, ненастоящие цветы, а из бумаги – почти как настоящие...

С другой стороны, мы тоже ненастоящие, чего уж там.

– Не прыжки, не икебана, а соулбилдинг, – сказала Костромина поучительно.

– Что? – переспросил я.

– Соулбилдинг. Ты что, английский совсем не учишь?

– Да нет, учу. Но сложно, сама понимаешь, слова другие, правила разные... Непонятно.

– Так... – Костромина остановилась и поглядела на меня. – Что такое соулбилдинг, ты не знаешь?

– Знаю... – Я опустил свинцовый зонтик.

– И что там делают? – Костромина поглядела на меня с таким прищуром, что ресницы опять едва не отвалились. – На соулбилдинге? Давай, расскажи,

дружочек.

И экзамены она тоже любит устраивать. Особенно мне.

- На соулбилдинге тренируют душу, - сказал я неуверенно.

Не очень уверенно.

- Строят душу, - строго поправила меня Костромина. - Укрепляют душу. А некоторые и формируют. Так вот.

Строят душу, понятно. Вот сейчас вспомнил, есть такое, соулбилдинг, точно, вспомнил. Смотрят фильмы старые, стихи вслух читают, психодрама всякая. Идут, допустим, к реке, один с моста прыгает и тонуть начинает, спасите-помогите, кричит, бьет конечностями и погибает практически, а остальные его к.б. все дружно спасают. Ну, или по очереди спасают, развивают эмпатию.

Рисуют еще. Городские пейзажи в основном. Кое-кто и портреты пробует, без толку только, портреты у нас не получаются. В ненависти упражняются. Это, кстати, особенно сложно. Изобразить легко, ну, там, глаза выпучить, зубами поклацать, порычать, это пожалуйста. А поненавидеть... Тут много способов. Например, делают из папье-маше фигурки вредных исторических деятелей, а потом их ненавидят, иголками тычут. Говорят, эффективно.

В жалости опять же упражняются. В ветеринарную клинику едут, старых животных жалеют. Смотрят и жалеют, смотрят и жалеют.

Раньше это по-другому называлось, анимация, кажется, а сегодня вот соулбилдинг. Новые технологии, гипноз, нейросудорожная терапия, полостное форсирование. А все это к тому, что есть такая теория: если душу нельзя обрести, то надо постараться ее сконструировать. Сложить, как пазлы. Стараться, главное, надо. Будешь стараться, стараться, и потом количество вдруг раз - и перейдет в качество. Как энтропия, только наоборот. Вроде как ни у кого пока не получалось, но многие верят. Деньги даже на это выделяют, программы специальные, вот и у нас, видимо, тоже.

- Много народа записалось? - спросил я.

- Нет, конечно. Мало. А тренер, между прочим, из самой Москвы приехал, все показывает, все рассказывает.

- Что, тренер, типа, крутой вуп?

- Крутой. Вообще крутой, как ты любишь говорить. Такое делает - вздрогнешь.

- Например? - к.б. ехидно спросил я.

- Например, плачет.

Костромина похлопала глазами.

- Ага, знаю, как они все плачут. Возьмут, воды себе накапают - и как бы плачут, плакальцы, ага.

Или уксуса. Или лимонного сока. Да мало ли способов.

- Нет. - Костромина даже остановилась. - Он по-настоящему плачет.

- Правда? - я не очень-то верил.

- Правда. Плачет. Говорит, что два года тренировался, что любой, в принципе, может плакать.

Тут я обнаружил, что опять совсем опустил зонтик и что Костромина теперь тоже плачет. Во всяком случае, текло из глаз весьма натурально. Дождь. Снег должен уже быть, зима, а дождь, ручейки по щекам, как в книгах почти.

- Правильный тренер, - сказала Костромина. - Компетентный.

- Да, - согласился я, чего мне спорить.

- Он способ подсказал, как надо, - сказала Костромина. - Берешь, придумываешь самое жалостливое событие в своей жизни - и плачешь. Можно себя сиротой, например, представить.

Я быстро представил себя сиротой и никакой жалости не почувствовал, ни к себе, ни к родителям. Ну, сирота, да, жизнь не удалась. Представил себя под мостом, в тоске, в... Все.

- Вот смотри.

Костромина замерла, закрыла глаза, сосредоточилась. Напряглась, задрожала...

И пять минут дрожала, не меньше, но ничего так и не смогла из себя выдавить, плохо себя сиротой представляла, наверное.

- Не получается. - Костромина сделала к.б. разочарование. - Но я только два раза ходила...

Кажется, она расстроилась к.б. Понятно. У Костроминой требовательное отношение к себе.

- Плакать - это что, - сказал я скептически. - Вот под нами живут Лапины, так у них дед в колбе уже сто с лишним лет сидит. И как его достают проветривать, он плачет каждый раз, говорит - когда я сдохну, а, внучки? Крупными такими слезами при этом плачет, с брусничину каждая слезина. Вот смеяться - это да, это сложно.

- Александр Иосифович и смеяться умеет, - сообщила Костромина. - Причем до слез. Он говорит, в Москве уже все так умеют.

Я не знал, что сказать. Москва нас всегда опережает, тамошние вупы самые продвинутые, тут уж ничего не скажешь. Вот и смеются даже до слез.

- В смехе вы там тоже упражняетесь? - спросил я.

- А как же. Кино смотрим, там в нужных местах смеются. И мы вместе смеемся. Очень удобно и понятно. А у кого смеяться не получается, тому электростимуляторы цепляют. Кстати, я уже немного научилась.

- Чему научилась? - не понял я.

– Смеяться.

И Костромина продемонстрировала.

Смеяться у нее получалось еще хуже, чем плакать. Ужасно, если честно. Совсем ужасно. Похоже на аппарат, который старые машины в металлическую стружку корежит, и звук такой же, и вид тоже чем-то напоминает.

Я представил себе картину: десяток курсантов сидят в зале, смотрят комедию, смеются. Скрежещут то есть. И последние тараканы в ужасе разбегаются по сусекам. Они ведь по сусекам разбегаются?

– Ладно, нормально, – остановил я этот кошмар. – Хватит.

Костромина перестала хохотать, сомкнула челюсти, перестала слепить меня своими роскошными зубищами, а я собрался с наглостью и спросил:

– Костромина, вот меня всегда такой вопрос интересует: что ты так надрываешься, а? Ради чего?

Костромина поглядела на меня испытующе – никому не скажу? Боится, что засмеют, ха-ха. А может, сглазить боится, ха-ха.

– Да не скажу, – пообещал я. – Не скажу. Я никогда и ничего, ты же знаешь. – Я вообще-то не болтун, это правда. – Ради чего? – повторил я.

– Ради мороженого, – ответила Костромина.

– Ради чего?! – не поверил я.

– Ради мороженого. Хочу попробовать мороженое, что непонятного?

Через дорогу и через дождь сияли неоновой синевой «Продукты». Я кивнул и указал пальцем.

– Зачем? – спросила Костромина.

– Пойдем, попробуем. Ты же хотела.

– Издеваешься? – спросила Костромина. – Там же только гематоген!

С какой-то даже человеческой обидой, видимо, этот душевный билдинг для нее даром не проходил. Во всяком случае, симуляция удачная, я даже подумал: а может, мне тоже записаться? Все-таки тренер из Москвы, до нас из Москвы редко кто доезжает, сложный случай. Хотя нет, в прошлом месяце народный коллектив из Москвы привозили, разные танцы представляли, вертелись как могли, ножики в пол втыкали, в принципе, интересно. Не люди, конечно, но все равно интересно. Интересно, когда нелюди стараются.

Поэт из Москвы был. Из зала говорили разные слова, например, «рельсы», «лайка», «парашют», а он тут же стихи сочинял, вот такие, например:

Продольны рельсы, упрямы шпалы

И лает лайка, и крут маршрут

И шепчут губы мои устало:

«Храни меня, мой парашют».

Здорово, одним словом, вот так, прямо с ходу стихи сочинить. Я помню, как-то раз Костромина было к стихам попробовала подступить, только у нее ничего не получилось, хотя взялась она серьезно, захлеб. Теорию изучала, практику, читала классиков, переводы. Потом сама начала пробовать, целую тетрадку исписала квадратным почерком, долго почитать мне не давала, а потом все-таки не удержалась, принесла вечером тетрадку. Я прочитал уже вечером.

Собака сломала ногу

Чините скорее дорогу

Это было лучшее, это сама Костромина сказала, признавая, что со стихами у нее не получилось. Вообще, свою неудачу Костромина перенесла стойко, сказала, что такое и с великими приключалось, не в этот раз, так в другой сочинится, таланту надо как следует вызреть. Так вот с поэзией получилось.

Кстати, после поэта террариум сразу приезжал. Он вообще тоже приезжает часто, инсектариум два раза был, тоже к.б. весело, кузнечики прыгают, тарантулы. Братья Сиракузовы тогда ночью пролезли, украли яйца тарантула и высидели в инкубаторе, до сих пор к ним в гости никто не торопится. Не то чтобы боятся, просто неприятно, когда тебе за шиворот что-то сползает.

А больше всего мне вот бабочкарий понравился, передвижной, разумеется. Там такая комната была, в которой можно сидеть на стуле, а бабочки на тебя опускаются. Причем там такие непростые бабочки, а у каждой на крыльях буква алфавита. И если повезет, то буквы эти сложатся в слово. У меня, честно говоря, никакого слова не прочиталось. А Костромина вот сказала, что у нее слово «сон» получилось, но вполне может быть, что она и врала, как обычно. Хорошо в бабочкарии, только жаль, всего по десять минут каждому можно, а желающих там посидеть больше, чем времени. Бабочки не какие-то там фаланги...

– Эй! – Костромина постучала меня по голове кулаком. – Бум-бум! Ты куда делся?

– Я здесь.

– Ты что-то про мороженое говорил.

– Да... Мороженое можно попробовать... То есть оно там есть, в «Продуктах».

– Издеваешься? – повторила Костромина.

Ну да, похоже на издевку, разумеется. Попробовать мороженое можно, сколько угодно, в тех же «Продуктах» можно хоть сейчас взять килограмм, сесть на мокрую скамейку и сжевать. Только смысл? Все равно вкуса нет. Никакого. Даже холода и то не почувствуешь. Только губы закоченеют, вот и весь эффект. Так просто резиновые, а после мороженого дубовые, вот и все. Вот и весь вкус. Нет, если выжрать бутылку уксуса, то легкое пощипывание языка, разумеется, ощутишь, а вот мороженое...

– Если ты издеваешься... – Костромина начала мрачнеть и смурнеть. – Если...

– Просто забыл, – сказал я. – Извини. Извини, у меня плохая память, ты же знаешь.

Костромина к.б. успокоилась.

- Ничего, - сказала она. - Это ты меня извини. Я просто давно хочу мороженого. Очень давно. Чтобы только по-настоящему, понимаешь? И Новый год хочу.

- Что? - не расслышал я.

- Новый год, праздник. Чтобы елку нарядить, игрушки, гирлянды.

- Гирлянды?

- Огоньки такие электрические.

Праздник. И электрические огоньки.

- Праздник...

Это когда всем весело.

- Праздник, - кивнула Кострома. - Фейерверк, песни все поют, танцуют. Радость. Слушай, а там ведь раньше никакого мороженого не продавали... В «Продуктах».

- Вчера заходил, есть мороженое, - сказал я. - Пять сортов. Зеленое даже какое-то есть. И газировка, тоже разноцветная. И даже пирожные. То есть печенье, пирожные быстро портятся.

- Зачем?

Я пожал плечами. Раньше там только гематоген был, правда, трех видов, твердый, жидкий и с ореховым вкусом. Меня со всех тошнит, с ореха тоже. Говорят, что, возможно, скоро начнут гематоген без вкуса делать, тогда, может, можно его будет есть без отвращения. Хотя отвращение тоже чувство. Всегда только отвращение...

- Не знаю я, зачем все это завезли, - сказал я. - Может...

Я не смог придумать, для чего. Одно дело террариум, другое дело - мороженое. На пауков смотреть как-то разумнее.

- А я, кажется, знаю. - Костромина улыбнулась.

Костромина всезнайка. Лучшая ученица, и читает много, и думает. Мыслительный аппарат у нее хороший. И воля к жизни... Я уже говорил.

- И для чего здесь мороженое?

- Не скажу, - ухмыльнулась Костромина. - Не скажу, а сам ты не догадаешься никогда.

Это точно.

- Ясно, - кивнул я. - Ладно. Слушай, а собаку-то тебе когда выдадут? Завтра?

- Ага. С утра пойду.

Я хотел тоже напроситься, но, честно говоря, думал, что Костромина меня сама пригласит. А она не собиралась, кажется. Странно - на получение прав позвала, а на саму собаку... Ладно. Собака - это, наверное, очень личное, ее с посторонними не стоит забирать, собака может перепугаться, сбежать. Все равно могла бы... Надо было что-то сказать ей, но я не знал, что правильнее. Вспомнил, что Кострома космос любила, и я спросил про Марс.

- Про Марс слыхала?

- Слышала, конечно, - ответила Костромина. - А ты что, в космонавты решил поступить?

- Я? В космонавты? Да ну этих космонавтов...

- Зря. Надо стремиться, ты же знаешь.

Она указала в небо, в дождь.

- Все равно нас не пускают, - зевнул я.

Это точно, нас не пускают пока. С одной стороны, конечно, удобно вроде, и даже очень. Можно не особо заботиться о защите от радиации и прочего космического вреда, ни еды, ни воды брать с собой не требуется, воздуха мало, отапливать, только чтобы секреция не встала совсем, что чрезвычайно облегчает дальние исследования. Да и на Марсе тоже удобно. Теоретически можно даже скафандров не использовать, обернулся фольгой, взял баллончик, и бегай три года. Сплошные то есть плюсы.

С другой стороны, имелся и негативный опыт. Очевидные плюсы при столкновении с реалиями космоса не выглядели уже так очевидно, особенно на фоне минусов. Опять энтропия, конечно. В космосе она особенно зверствует, видимо, из-за пустоты. Одна пустота притягивается к другой. Несколько экспедиций с участием в-астронавтов закончились печально - из девяти исследователей в нормальном состоянии на Землю вернулся только один. Остальные окуклились, выпали в глубокий аут, причем космический аут был гораздо быстротечнее и жестче земного.

Да и психологически это тоже для нас непросто - какой вуп согласится десять лет тренироваться для того, чтобы год лететь в одну сторону, год в другую и год скакать по пыльным красным равнинам? И непонятно, во имя чего. И с риском впасть в энтропию. Так что вакансии в отряд космонавтов для нас закрыты, можно и не пытаться. Хотя раньше, я читал, кажется, все мальчишки мечтали стать космонавтами...

Вообще в теории быть космонавтом, конечно, неплохо.

Космонавты находятся в небывалых условиях - вокруг всегда люди. Люди, люди, только люди. Люди - они во всей науке, а в космической отрасли особенно - там все слишком сложно, там только самые лучшие из людей могут. И когда ты окружен людьми, к тебе тоже как к человеку все относятся.

Как к человеку, а не как к какому-то вупырю паршивому, замшелому и заскорюзлому, интеллигенция, одним словом. Так что я думаю. Ну, в космонавты.

- Воду на Марсе вроде как нашли, - сказала Костромина.

- Да, - подтвердил я. - Точно.

- Корабль собираются строить, «Черный принц» называется. Самый быстрый, самый мощный. На нем по всей Солнечной системе летать можно будет. А может, и дальше.

- А чего название такое мрачное? - спросил я.

- Название романтическое. Это такой английский король, когда его невесту убили, он дал обет не жениться и всю жизнь ходил в черном. Всю жизнь ее ждал.

- С того света, что ли? - спросил я.

- Идиот. Он ждал, пока их души не сольются в вечном празднике.

Костромина постучала меня по голове.

- Понятно, - сказал я. - А при чем тут корабль?

- Корабли всегда в честь выдающихся личностей называют. Это очень почетно, если твоим именем назовут. Впрочем, твоим не назовут, можешь не переживать. Так вот, первым рейсом этот корабль на Марс полетит. Воду нашли - теперь базу надо строить. Человечество должно идти вперед. Если оно не идет вперед, оно окукливается...

Костромина поглядела в небо, туда, где за километрами промокшей атмосферы висел Марс. Я тоже поглядел. Конечно, ничего, кроме дождя, мы не увидели. А Костромина прочитала стихи, я не запомнил, какие, про космос что-то. Полетел один к инопланетянам, влюбился в инопланетянку, плюнул на все, стал жить-поживать да добра наживать. Кострома вообще много читает, стихи заучивает, на Марс хочет. Как водится. Соулбилдинг.

А я не хочу, я как все, мне бы сесть в уголочек, глаза закрыть...

– Не спать, закиснешь! – Костромина отвесила мне подзатыльник, изрядный, зубы клацнули. – Аут идет за тобой! Бойся аута! Возврата нет!

Не закиснуть сложно. Весьма. Надо стараться, надо держать себя в руках, это...

– Не спать! – Костромина отвесила мне еще один профилактический шлепок. – Не спать, не спать, не спать!

– Я не сплю...

Да я вообще не сплю.

Дождь разжижился. Из проливной фазы переключился на водную кашу, холодный пар, проникающий всюду. А мы уже почти дошли до ее дома.

– Да, самая главная новость – чуть не забыла...

Костромина похлопала ресницами, представляя дуру и кокетку. Я ждал. И даже представил к.б. интерес – совершил лицом мимические движения, долженствующие изображать удивление.

– Мы победили в конкурсе, – сказала она.

– В каком еще?

– Опять забыл, что ли?

Забыл. Я все забываю, это просто беда. Говорят, что скоро запустят новые батончики, усовершенствованные, с витаминами, улучшающими память. Память – это, кстати, одна из причин того, что мы никак не поднимемся. Плохо помним. Все, что произошло вчера, позавчера. Интересно, соулбилдинг память развивает? Какая цивилизация без памяти...

– В каком конкурсе? – осторожно спросил я, не хотел, чтобы Костромина еще раз меня треснула.

– В каком?! – к.б. поразила Костромина. – В человеческом! На человека! Ну, Полено, ты меня поражаешь!

И тут я вспомнил.

Что наша школа, впрочем, как и другие школы региона, боролась за человека. В рамках программы «Человек среди нас». То есть чтобы к нам человека прислали, в нашем классе чтобы он учился. Это большая честь, многие человека только по телевизору видели, а тут в классе! И вот, оказывается, мы победили. А я не знал...

– Я тебе, Полено, говорила, чтобы не спал, – с назиданием сказала Кострома. – Главную новость едва не проворонил. Скажи мне спасибо.

– Спасибо...

– Пожалуйста. Все очень удачно складывается. Я получила права на собаку, мы выиграли конкурс – здорово. Вот представь, я человека в гости приглашу, мороженым, допустим, угостить, он придет, а у меня собака. Как у всех нормальных...

У Костроминой потекла тушь. По правой щеке черным таким разливом. Костромина выхватила зеркало, поглядела, растерла рукавом, отчего стало еще хуже – чернота распространилась на половину лица.

– Все, не хочу тебя больше сегодня видеть. – Костромина отвернулась. – На, возьми, почитай это.

Костромина сунула мне брошюру, свернутую в трубку. Я взял, раскрыл...

– Дома, болван, всю книжку испортишь! – Костромина стукнула меня в очередной раз. – Все, марш!

Я спрятал брошюру под плащ и побежал к себе. Не перепрыгивая через лужи.

Родителей, как всегда, не было, я включил свет, зажег тепловую пушку, разогнал туман по углам комнаты и немного почитал. Это было «Введение в

soulbuilding».

Ничего так, научно. Концепция стройная вроде. Опять же на авторитетов ссылаются – И. Лойола, Достоевский, Л. Толстой, Дж. Вейдер. А вначале Погробиньского проклинают, все как полагается.

Интересно.

К.б.

Глава 3

Коллектор

Во вторник была уже совсем моя отработка, от которой отвертеться было никак. Нет, то есть можно было просто не пойти, но это было неправильно, надо было приискивать причину, а не придумывалось, хоть тресни, ничего, так что ничего не оставалось, как отрабатывать.

Я отправился в школу на два часа раньше. По улице имени летчика Васильева, потом по Праздничной, потом на Радужную. Но радуги тут сейчас не было, она появляется лишь к полудню, когда солнце все-таки пробивается через тучи, его можно увидеть через мутные закопченные стекла. Сейчас никакой радуги, конечно.

Изобилия народа на улице не наблюдалось, несколько одиноких утренних фигур. Некоторых я узнал – они тоже ползли в сторону школы, другие просто стояли, взрослые тоже встречались, тоже стояли. На асфальте валялось несколько искореженных велосипедов и почему-то телефонные справочники. Они размокли от дождя и стали похожи на кашу, или на странные грибы, или на щупальца существ, пытавшихся выбраться из подземного мира, их было много, они пугали к.б.

В середине улицы Радужной располагалась районная установка погоды, огромная и страшная, похожая на адский завод по производству несчастья.

Напротив погодной машины чернела липовая аллея с чугунными скамейками, я сел. Над модуляторами Чижевского висел зеленоватый туман, на решетках реакторов сидели вороны, много, штук двести, не меньше, говорят, что вороны впадают от генераторов в эйфорию, некоторые так и сидят до тех пор, пока с голода не помирают. Или от счастья. Голодная смерть от счастья, одним словом.

Я достал из титанового футляра увеличительные очки и несколько минут наблюдал, как с решеток срываются и улетают в небо серебристые корпускулы. Не знаю, наверное, это красиво. Точно красиво. Некоторые тут сутками сидят, как вороны, смотрят, смотрят. Я как-то тоже почти день просидел, следил за искрами, о чем-то думал, спокойно так было...

Но сегодня нельзя долго сидеть, сегодня отработка, надо собраться с силами и пойти...

Одна ворона, видимо, умерла. Во всяком случае, оторвалась от решетки и упала с глухим звуком. Остальные не каркнули. Я подумал, что все-таки пора, поднялся и двинулся в сторону школы и услышал, как еще одна ворона упала. Интересно, куда их девают? Вряд ли они там так и лежат. Хотя кто его знает, может, они, пока сидят, изнутри все иссыхают. От счастья.

Возле Запрудной увидел Костромину, она бодро шагала в сторону коллектора, вприпрыжку почти, я с трудом ее догнал. Вчера ее в школе не было весь день, мне очень хотелось к ней пойти, но я не решался. Собирался два раза, то есть почти три, но не собрался.

А сама она, конечно, не зашла.

- Сегодня должны официально объявить, - сказала она. - Про Свету.

- Про какую Свету? - не понял я.

- Ее зовут Света. Человек. Она приезжает через три месяца, я же тебе говорила. Опять забыл? Будет учиться у нас.

- Света... Она что, девчонка, что ли?

Костромина восторженно кивнула. Я понял, что она прекрасно все знала. Знала, что человек будет девчонкой. Забавно.

- Здорово, - сказал я.

Хотя я не очень понимал, что тут особо восхитительного, для меня эта Света совсем не была девчонкой, или парнем, она была ЧЕЛОВЕКОМ, вот и все.

- Это не здорово, это великолепно. - Костромина взглянула на меня оценивающе. - То, что человек - девушка, это просто удача. Чего молчишь?

- Удача, - согласился я. - Просто праздник.

Я всегда с ней соглашаюсь. Кострома - она умная, ей это даже энтропист из поликлиники сказал, Костроме видней.

- Просто праздник, - передразнила меня Костромина. - Что ты такой вялый, Поленов? Так ты со своей вялостью и до энтропии докатишься. Смотри у меня.

Костромина сплюнула через плечо.

- Нет, я на самом деле рад...

- Рад... Вижу, как рад. Про соулбилдинг, что ли, не читал, не знаешь, как правильно радоваться? А ну-ка порадуйся.

Я порадовался. Все как полагается: улыбнулся, посмеялся, похлопал в ладоши, пошевелил глазами.

- Ладно, пойдет, - сказала Костромина. - Вообще-то паршиво, но пойдет. Наверное, ты не безнадежен. А почему ты меня не спрашиваешь?

- Про что? - не понял я.

- Про что... - У Костроминой присутствовало дразнильное настроение. - Не про что, а про кого. Про Кузю, конечно.

– Про какого Прокузю?

– Кузя – это моя собака, – сказала Костромина с достоинством. – Или ты и это забыл? Позавчера выдавали права, вчера с утра я ходила в департамент и взяла Кузю. Ты что, забыл все-таки? Если забыл, я подарю тебе блокнот...

– Нет, что ты, не забыл. Как Кузя?

Костромина стала рассказывать про Кузю. Какой он умный, какая у него шерсть, как он весело лает на прохожих из окна, как он ее защищает, какой Кузя славный и милый.

Я слушал. Я почему-то представлял, что Кузя будет другой. Большой. Размерный такой пес, с хорошим прикусом и длинной шерстью, мне кажется, ей подошел бы ирландский волкодав, такая собака как раз бы Костроминой подошла – мрачная, злобная, сильная. Или ротвейлер. На крайний случай овчарка немецкая. Но, судя по рассказу Костромы, Кузя был мал и требовал заботы. И Костромина рассказывала про то, как она заботилась о нем весь вчерашний день. Это было очень интересно, Костромина трещала до самой школы, остановилась только на крыльце. Я поглядел на нее. Я знал, что это все не по-настоящему...

Но Костромина старалась изо всех сил.

– Ладно, – выдохнула она. – Что у нас там сегодня по расписанию? Коллектор, значит?

Сегодня был коллектор. У нас с Костроминой свой участок, мы разбираем его уже почти два года и уже несколько продвинулись.

Наша школа построена на месте областного медиаутилизатора, собственно, даже не на месте, а прямо над ним, так часто делали, потому что удобно. Класс прикреплен к восемнадцатому сектору, а мы с Костроминой заведем в этом секторе четвертым блоком. Костромина этим гордится, она говорит, что человек должен гордиться своей работой, это правильно.

А я как-то не горжусь.

Переодевшись, мы спустились на технический этаж и направились к месту работы. Блок похож на трубу. Диаметр пять метров. Глубина неизвестна, одни говорят, тридцать метров, другие, что чуть ли не сто, мы не измеряли, а никакой информации об этом не нашлось. Братя Сиракузовы всерьез утверждали, что их блок вообще бездонный, говорили, что их дядя проверял блок георадаром и тот дна не показал. Ходили слухи, что все трубы коллектора ведут в огромную подземную полость, до которой мы рано или поздно докопаемся. Лет через пятьдесят. А за три года мы раскопали метров семь, немало, в нашем классе это рекорд. И в школе почти рекорд.

- Интересно все-таки, что там на дне? - спросила, как всегда, Костромина.

- Какая разница? Все равно мы не успеем докопаться. То есть школу раньше закончим.

Я тоже думал, что там. И никогда придумать не мог. В огромную полость особо не верил, верил в дно. Точно, там дно, вот и все.

- Дно там, - сказал я и спрыгнул вниз.

Воткнулся в книги почти по пояс. Через секунду рядом воткнулась Костромина. Некоторое время мы так и торчали, собираясь с силами. Костромина считала вслух, а я не считал, просто торчал, сдавленный книгами прежних лет.

- Сто, - сказала Костромина. - Теперь мы будем энергично работать.

- Да, - сказал я.

Мы взялись за энергичную работу.

В нашем блоке в основном книги. Когда началось... Вернее, когда закончилось... Даже не так.

Когда осознали, во что мы все вляпались, народ очень рассердился.

Все книжки, все фильмы, компьютеры, короче, все, до чего могли дотянуться, собирали. Дед рассказывал, что прямо в окна выбрасывали, а по улицам шли

бульдозеры, сгребали в грузовики и вывозили за город. Сначала жгли, само собой, костры были чуть ли не до неба, черный от пепла снег шел, все вообще черное было. Потом опомнились, конечно, поняли, что сгребли и нормальное, и поганое, без разбора, и оказалось все вперемешку. Тогда разделять времени не нашлось, других хлопот немало возникло, вот все добро по коллекторам и раскидали.

Они раскидали, а мы теперь разбираем который год, зерна в мелкую банку, плевела – в мусоросжигатель. В измельчитель то есть, бумагу надо беречь. Конечно, никакого недостатка в древесине у нас не наблюдается, но с деревообрабатывающей промышленностью проблемы. Финляндия до сих пор в развалинах, а они по древесине главными считались. Поэтому макулатура – ценный ресурс. И в коллекторах ее еще надолго хватит. Мы эти коллекторы сто лет почти разбираем, только разобрать никак не можем. Не хватает сил.

– Один вуп в соседнем городе тоже вот так в коллекторе сидел, – сказал я. – И ему на спину прилипла страница из журнала про садоводство, а он не заметил. Пока домой шел, весь промок под дождем и страница тоже размокла, он прямо так спать и завалился.

– И что?

– На следующий день тоже не заметил, бумага и выросла. А на бумаге какая-то древняя плесень оказалась, из позапрошлого века, а то и еще раньше, может, и первобытная вообще. Одним словом, эта плесень его за неделю до позвоночника выела, а он и не заметил даже. Когда хватился, было уже поздно. В антибиотики его опускали, в кислоту – все бесполезно, плесень его дожрала.

– Вранье, – хмыкнула Костромина. – На бумаге никакой плесени нет.

– Но я...

– Никакой плесени нет, – утвердительно повторила Костромина. – И нечего выдумывать. Ясно?

– Ясно, – согласился я.

– Бумага абсолютно безопасна, – повторила Костромина. – Абсолютно.

– Конечно.

Мы немного поработали. Костромина выбирала книги, передавала их мне, я рвал поперек и грузил в корзину. Молчали.

– С книгами работать еще ничего, – сказала Костромина. – А вот в соседнем городе раньше игрушечная фабрика работала. Когда гемоготика в моду входить стала, они на нее целиком переключились. И наваяли. Очень много то есть наделали. Пластмассовые клыки, резиновые маски, заводные челюсти, фигурки разные, игры настольные, куклы, амулеты. Там все коллекторы этим завалены, по горло. Вот ты прикинь, как там работать приходится? Во всей этой мерзости?

– Да уж, – соглашаюсь я. – Трудно.

Я на секунду представил, как действительно работать в таких коллекторах, и мне стало к.б. неприятно – одно дело сидеть по пояс в старых книжках, календарях и журналах, а совсем другое – в каучуковых клыкастых фигурках, которые при соприкосновении с кожей скрипят и воняют силиконом. Может, там свои преимущества имеются...

Да какие там преимущества? Нет, все-таки у нас еще ничего, неплохо. К тому же мы только разбираем книги, и иногда я их рву, а вот Сиракузовы их только рвут. Для разбирания они очень глупы и необразованны, не могут отличить «Воина ночи» от «Фиалки Калькутты», им что «Кровавый выходной», что «Царство проклятых», разницы не видят. Зато рвуны, конечно, хорошие – я сам видел, как Сиракузов-младший легко разорвал «Медицинскую энциклопедию». Вот и рвут.

– Я слышал, некоторые вупы в одном городе...

– Смотри-ка. – Костромина достала из вороха книг книгу. – Это «Пурпурная бабочка счастья», отличная штука. Я еще в начальной школе читала. Вот послушай. «Его глаза излучали необычное сияющее тепло, трепещущий от счастья Вольфганг обнял меня и привлек к себе, я почувствовала, как бьется его сердце...» По-моему, это прекрасно. Как ты думаешь?

- Прекрасно, - согласился я.

Костромина закрыла глаза.

Не знаю, трепещущий Вольфганг и необычайное тепло меня не очень вдохновляли, но Костроминой видней.

- Знаешь, может, я сама тоже такое напишу. Потом, конечно, не сейчас, сейчас мне надо набраться жизненного опыта. Когда... Потом. Это же красиво.

- Красиво, - согласился я. - Только...

- Да, стихи у меня не получились. - Костромина отшвырнула книжку. - Но стихи - это совсем другое. А роман у меня выйдет что надо. Вот ты «Аэлиту» читал?

- Нет, - признался я.

- Я так и знала. А зря. Это моя любимая книга. Там он на Земле, она на Марсе, между ними миллионы километров, и они никогда не встретятся... Восхитительно. Очень красиво и романтично.

- Да уж...

- Поленов, почему ты такой скучный? - Костромина открыла глаза, уставилась на меня.

Иногда она вот так на меня смотрит. Как бы внушая что-то. То есть она делала вид, что внушает, а я пытался угадать, что она мне хочет внушить... Сложно.

- Тебе не надоело вот так? - спросила она.

- Как?

- Так. Тупо. Однообразно. Ты сколько лет прожил и ничего не сделал. Как мокрица.

- Так ведь и не хочется ничего. Если бы хотелось, так я, может, и делал бы...

- А говоришь, не тупо. Это же... Это же ужас.

- А у тебя не тупо?

Я не разозлился. Так, к.б. Выхватил у Костромы «Пурпурную бабочку заката», не размахиваясь, швырнул книжку вверх, через горловину коллектора. Кострома среагировала, рванулась автоматически за «Бабочкой», комбинезон треснул по шву, от лодыжки до запястья, и некоторая часть Костроминой оказалась снаружи.

Это было к.б. смешно, но я не рассмеялся. Костромина сделала вид, что застеснялась и быстренько вскарабкалась вверх, я остался один в трубе.

Не люблю сидеть один, да еще в колодце. Да еще в тишине. Это неприятно и опасно. Говорят, что в нашей школе в прошлом году трое обэнтропились вот так, в коллекторах, сидели, перебирали книжки, и все, куколки. А один, говорят, даже пророс сквозь книжки и превратился в кучу целлюлозы, так его даже вроде бы доставать не стали, залили сверху бетоном, и все, прах к праху. Не знаю, правда ли это, или сказки, но колодцы, залитые бетоном, встречаются, только в нашей школе их два, что в них – неизвестно, но некоторые утверждают, что там страшные вещи.

Страшные вещи.

Для любого человека мир, в котором мы живем, страшен. Вечные сумерки, вечный дождь, улицы с покореженными велосипедами, мокрицы на стенах, черви, вороны. И никакого никогда тебе солнца. И никто не смеется. И не радуется по-настоящему. Не плачет. Все только боятся, да и то не по-настоящему.

Я остался один, и в голову мне немедленно полезли неприятные мысли, мне совсем не хотелось думать о плохом, и, чтобы отвлечься от этих мыслей, я стал перебирать книги. Шла обычная вупирская скукота. «Вампир, которого я любила», «Вампир, который любил меня», «Сумеречная любовь», «Ночной разбойник», «Академия Носферату», «Полуночная страсть», ну и все в том же духе, в черно-розовом. Про то, как мелкие девки решительно влюблялись в

вампиров, а те тоже хороши, влюблялись, как идиоты, в мелких этих девок. И все страдали, роняли слезы и думали – жрать или не жрать.

Большую часть я рвал и забрасывал в корзину для уничтожения, кое-что оставлял – для обмена в книжной лавке, сплющивал и прятал в комбинезон, в специальный потайной карман для раритетов. В книжной лавке принимают бладфикшн, за пятнадцать поганых книжек можно получить одну полезную, например, как делать поделки из бумаги, или про то, как построить телескоп, или как выращивать спаржу в домашних условиях. Так что бладфикшн тоже полезен бывает.

Хотя я, когда вижу такие книги, всегда смеюсь. Внутренне. То есть к.б. немного. Хочется мне всегда поглядеть в глаза этим писателям. То есть писательницам, почему-то кровавый трэш сочиняли преимущественно женщины. Вампиры, любовь, вампиры... Их бы сюда, в нашу шкуру, они бы узнали, что это значит – быть вурдалаком. Вуп не может любить. Никого. В том числе и себя. Он равнодушен и теплохладен до тошноты. И страдать не может. И удивляться, и... и вообще ничего. В этом-то вся и беда. Нельзя любить без души. А у нас души нет, она разорвана в клочья еще до рождения, и лишь маленькие кусочки теплятся, не позволяя скатиться в аут.

А все из-за них. Из-за глупых предков, которые рассердили Его своим бесконечным кривляньем. Своим заигрываньем со злом, жадностью своей и пороками. Слишком уж обременили они души свои мерзостью, и Господь усмехнулся и сказал: «Ага! Не цените, псы, свет мой – получите тьму мою».

Так дедушка рассказывал. Сидел, расплетал бороду и так нараспев рассказывал.

«Не цените, псы, свет мой – получите тьму мою». И тьма, разумеется, сошла.

Ну, а дальше... Дальше было делом техники. Через восемь лет на Земле не осталось почти ни одного человека. Одни упыри. Люди сохранились только на Новой Земле и на Лунной базе, но сидели тихо, наблюдая, чем дело закончится. А закончилось все печально. Если не сказать плачевно. Все начало рассыпаться. В буквальном и в переносном смысле этого слова. Потому что без души ничего не получается, даже самые простые вещи. Что говорить о сложных?

Без души вообще не жизнь, если честно, даже голод без души ощущается лишь первое время. Темно это. Страшно это.

Да если бы хоть страшно. Если бы хоть страх. Пустота. Бесконечность.

К.б.

Вупыри лет пятьдесят терпели. Смотрели, как под их бестолковыми руками рушится мир, грызли друг друга, грызли безо всякого удовольствия, окукливались, самосжигались, топились в океанских впадинах. А потом те, кто остался и мог еще хоть чуть соображать, взмолились: вернитесь! Люди! Вернитесь! Не получается у нас. Помилуйте нас, тварей бесполезных! Правда, конечно же, без восклицательных знаков.

Но люди боялись. Не хотели в этот вурдалачник возвращаться. А кто бы захотел? После той бойни, после восьми лет крови возвращаться не думал никто. Тогда вупы вот что придумали. Сказали: если не вернетесь, то мы все прыгнем в Этну. В вулкан на Сицилии. И будем прыгать, и прыгать, и прыгать. До тех пор, пока вы не прилетите. Если надо, все прыгнем.

Дед мой тоже там был. Они тогда почти со всего мира собрались, почти целиком весь остров заняли, стояли почти друг на друге.

Выстроились в очередь и давай прыгать. Полтора месяца прыгали. Один вупырь в минуту. Прыгали, прыгали, прыгали, и утром, и днем, и ночью. И каждый перед прыжком просил прощения. Дед говорит, что до него совсем уже немного осталось, он был готов прыгнуть, ничуть не сомневался...

Но ему повезло. Потому что люди вернулись.

Пожалели. Нас. Они ведь люди.

Вот такая «Полуночная страсть». Кстати, весьма популярная книжка, тираж семьдесят тысяч, целую рощу березовую загубили, молодцы.

Я порвал «Полуночную страсть» на четыре части и выкинул в корзину.

За страстью шли «Гонки с оборотнем» с соответствующими картинками – байкеры-оборотни на мотоциклах, а над ними в воздухе, соответственно, вампиры на кожистых крыльях. Редкостная, одним словом, дрянь, даже рвать не хотелось, просто скомкал и выкинул.

А потом вдруг попало «Разведение декоративных кроликов». В хорошем состоянии. Я обрадовался, хотел полезть наверх, показать Костроминой, но тут увидел еще интереснее книжку.

«Душ на даче». Я сначала подумал, что это ошибка, что правильно называется «Душа на даче», просто буква стерлась. А сама книжка про то, как светло и спокойно душе на лоне природы и так далее. Но потом полистал и понял, что все-таки душ. Чтобы мыться. Как построить своими руками. И чтобы вода солнцем нагревалась и ей уже потом теплой мыться. Решил отдать Костроминой. Пусть отнесет на свой soulbuilding, может, им пригодится. Почему нет, собственно? Наверняка строительство душа на даче как-то способствует строительству души. Пусть и опосредованно, но все равно способствует.

По поводу души у всех разные мнения, кстати. Я вот тут «Введение в соулбилдинг» почитал, кое-что понял.

Одни, вот как Костромина и, видимо, ее коллеги по соулбилдингу, думают, что душу можно развить. Накачать то есть. Всякими душевными упражнениями. Как раньше мышцы качали, так можно и душу сейчас. Принцип тот же. Остановить катаболизм. Почему растет мышца? Потому что из-за нагрузок старые мышечные клетки перестают распадаться. Старые не распадаются, новые нарастают. Так и с душой. У каждого вупа душа все-таки есть, просто ее так мало, что иногда даже незаметно. И что самое страшное – даже эта самая малость стремится к распаду. И чтобы этот распад остановить и даже обернуть вспять, надо использовать определенные упражнения. Поливать цветы, смотреть мелодрамы и драмы, стараться испугаться, натирать луком глаза, улыбаться. Доказано, что если долго улыбаться – возникает обратный эффект – улучшается настроение. Так и с глазами. Если долго натирать их луком, то появляются слезы. А если будешь часто плакать сугубо физиологически, то рано или поздно тебе захочется заплакать и психологически. Все по науке. Еще сам Игнасий Лойола разработал целый комплекс тренировок, призывал стяжать духовные богатства при любой возможности, то есть фактически делать то же самое, что соулбилдеры.

И в зеркало надо регулярно смотреться, кстати. Каждый день, регулярно, по несколько раз. Сама Костромина зеркало в сумочке все время носит, что-то там у себя на лице подправляет, только понять, отражается она на самом деле или только изображает, я до сих пор не могу.

А вообще вуп далеко не всегда себя в зеркале видит, я уже говорил. Лик существа без души безобразен даже для него самого. Поэтому мы плохо отражаемся. Сфотографироваться – это пожалуйста, сколько угодно, а в зеркале... А ты все равно смотри, советуют душебилдеры. И увидишь.

Костромина тоже все время истории рассказывает. Вот одна девочка у них в секции смотрела-смотрела – и увидела. А один старый вуп из Китая поместил себя в зеркальную комнату – куда не взглянешь – везде зеркала. Просидел в ней год – и научился себя определять. Метода, конечно, интересная, наверное, правильная, но год сидеть в зеркальной камере...

Я бы не высидел.

А кроме билдеров есть еще и прощенцы. Вот как мой дед, например. Он тоже считает, что наши души не пропали совсем. То есть Господь не испепелил их без остатка, а просто изъял на время. Потому что даже Он не в силах уничтожить душу, на это только сами мы способны. Изъял и поместил в особое хранилище вроде карантин – отсюда и бессмертие, а не из-за каких-то там дурацких микробов. И что рано или поздно Он нас простит. Люди ведь простили. А он их сваял по своему образу и подобию. К тому же именно на нас конкретно вины не так уж и много, мы все послерожденные, а значит, шанс есть. Надо только подождать. Ну и, конечно, не умножать зло. Оставить все как есть, ничего не делать, засесть в капсулы с кислотой и ждать, ждать. И рано или поздно прощение снизойдет. Свет рассеет тьму, воссияет солнце и все такое, мы выйдем из капсул, и все станет как раньше...

Я вот больше соулбилдерам почему-то верю.

Есть еще охотники. Они вроде как на Погробиньского охотятся, на того самого, что открыл проклятый склеп и был первым укушенным, от него и началось все падение. По преданию, сам носферату, разбуженный в склепе, был настолько древен, что не смог даже подняться на ноги, захлебнулся кровью и разложился в ржавую слизь, передав тем самым всю свою силу и все свое проклятие

Погробиньскому, и тот стал первым. А когда первый будет повержен, то все пойдет по-старому – если верить легенде. Старые вупы обратятся в прах, молодые станут людьми.

Я лично в это не верю. Сама история какая-то... Неправдивая. И потом, столько лет прошло, столетия, можно сказать, этого Погробиньского уже бы сорок раз отыскали и вбили бы ему осину промеж глаз. Но не нашли. А значит, не все так просто. Нельзя вернуть душу, вогнав серебряный кол в бледный лоб. Никакого прощения от этого не приключится.

Ну, и практицисты. Технари. Эти похожи на соулбилдеров, но верят в прощение. Они считают, что его надо заслужить делами. Восстанавливают церкви, наводят порядок везде, животных разводят и в леса выпускают, океаны очищают, людям помогают. Короче, надо работать, не сидеть сложа руки, не впадать в уныние – и все наладится. Они и в правительстве у нас, и в школе, и в хозяйстве. Так что мы все, в общем-то, практицисты. Работаем понемногу, стараемся, как получается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/verkin_eduard/cherez-sto-let

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)